

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  БОЛЬШИЕ КНИГИ

Виктория
Токарева



САМЫЙ
СЧАСТЛИВЫЙ
ДЕНЬ

« А З Б У К А »

Русская литература. Большие книги

Виктория Токарева

Самый счастливый день

«Азбука-Аттикус»

2018

УДК 821.161.1-3Токарева
ББК 84(2Рос-Рус)6-44-я43

Токарева В. С.

Самый счастливый день / В. С. Токарева — «Азбука-Аттикус»,
2018 — (Русская литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-21732-4

Рассказы занимают особое место в творчестве Виктории Токаревой. Теплые, очень живые, написанные неподражаемым, легким, «токаревским» языком. С удивительными героями, так напоминающими нас самих. С таким необходимым всем нам лейтмотивом: жизнь не испытание, а благо. Счастье в самом ее течении. А еще в сборник вошли автобиографические произведения об учебе в Институте кинематографии, путешествиях в Италию и общении с Федерико Феллини.

УДК 821.161.1-3Токарева
ББК 84(2Рос-Рус)6-44-я43

ISBN 978-5-389-21732-4

© Токарева В. С., 2018
© Азбука-Аттикус, 2018

Содержание

День без вранья	6
Уж как пал туман...	20
Будет другое лето	25
Инструктор по плаванию	33
Зануда	46
Рарака	52
Хорошая слышимость	66
Пираты в далеких морях	74
Плохое настроение	93
Когда стало немножко теплее	100
Тайна земли	109
Конец ознакомительного фрагмента.	112

Виктория Самойловна Токарева

Самый счастливый день

© Токарева В. С., 2018

© Оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2021

Издательство АЗБУКА®

День без вранья

Сегодня ночью мне приснилась радуга. Я стоял над озером, радуга отражалась в воде, и получалось, что я между двух радуг – вверху и внизу. Было ощущение счастья, такого полного, которое может прийти только во сне и никогда не бывает на самом деле. На самом деле обязательно чего-нибудь недостает.

Я проснулся, казалось, именно от этого счастья, но, взглянув на часы, понял: проснулся еще и оттого, что проспал.

Скинув ноги с кровати, сел, прикидывая в уме, сколько времени осталось до начала урока и сколько мне надо для того, чтобы собраться и доехать до школы.

Если я прямо сейчас, босой, в одних трусах, побегу на троллейбусную остановку, то опоздаю только на полторы минуты. Если же начну надевать брюки, чистить зубы и завтракать, то после этого уже можно никуда не торопиться, а сесть и написать заявление об уходе.

Меня позвали к телефону. Это звонила Нина. Разговаривала она со мной так, будто она премьер-министр, а я по-прежнему учитель французского языка средней школы.

Сдерживая благородный гнев, Нина спросила, приду я вечером или нет. Я сказал: постараюсь, хотя знал, что не приду.

Вернувшись в комнату, я подумал, что последнее время вру слишком часто – когда надо и когда не надо, – чаще всего по мелочам, а это плохой признак. Значит, я не свободен, значит, кого-то боюсь – врут тогда, когда боятся.

Я надел брюки и решил, что сегодня никого бояться не буду.

Троллейбус был почти пуст, только возле кассы сидела женщина и читала газету. Она держала газету так близко к глазам, что казалось, будто прячет за ней лицо.

В десять часов утра мало кто ездит. Рабочие и служащие давно работают и служат, а те, кто не работает и не служит, в это время не торопясь одеваются, чистят зубы и завтракают. Для них десять часов рано.

Для меня десять часов поздно, потому что через двадцать минут я должен начать урок в пятом «Б».

Я преподаю французский язык с нагрузкой двадцать четыре часа в неделю. Я бы с удовольствием работал двадцать четыре часа в год, но тогда моя годовая зарплата равнялась бы недельной.

Когда-то я хотел учиться в Литературном институте, на отделении художественного перевода, но меня туда не приняли. Окончив иняз, хотел работать переводчиком, ездить с делегациями за границу, но за границу меня никто не приглашает, а самому ходить и напрашиваться неудобно.

Моя невеста Нина говорит, что я стесняюсь всегда не там, где надо. А ее мама говорит, что я сижу не на своем месте. «Своим» местом она, очевидно, считает такое, где моя месячная зарплата равнялась бы теперешней годовой.

Надо было платить за проезд. Я порылся в карманах, достал мелочь – три копейки и пять копеек. Подумал, что если брошу пятикопеечную монету, то переплачу: ведь билет стоит четыре копейки. Если же опущу три копейки, то обману государство на копейку. Посомневавшись, я решил этот вопрос в свою пользу, тем более что рядом не было никого, кроме близорукой женщины, которая читала газету.

Я спокойно оторвал билет, сел против кассы и стал припоминать, как мы с Ниной ссорились вчера по телефону. Сначала я говорил – она молчала. Потом она говорила – я молчал.

Женщина тем временем отложила газету и строго поинтересовалась:

– Молодой человек, сколько вы опустили в кассу?

Тут я понял, что она не близорука – наоборот, у нее очень хорошее зрение – и что она контролер. Опыт общения с контролерами у меня незначительный. Но сегодня я не воспользовался бы никаким опытом. Сегодня я решил никого не бояться.

– Три копейки, – ответил я контролерше.

– А сколько стоит билет? – Такие вопросы в школе называют наводящими.

– Четыре копейки, – сказал я.

– Почему же вы опустили три вместо четырех?

– Пожалел.

Контролерша посмотрела на меня с удивлением.

– А вот сейчас оштрафую вас, заплатите в десять раз больше. Не жалко будет?

– Почему же? – возразил я. – Очень жалко.

Контролерша смотрела на меня, я – на контролершу, маленькую, худую, с озябшими пальцами. Она была такая худая, наверное, оттого, что много нервничала – по своей работе ей приходилось ссориться с безбилетными пассажирами.

А контролерша, глядя на меня, тоже о чем-то думала: припоминала, наверное, где меня раньше видела. На меня многие так смотрят, потому что я похож на киноартиста Смоктуновского, только у меня волос побольше. Но моя контролерша, скорее всего, в кино ходила редко и Смоктуновского вряд ли знала.

– Может, вы просто забыли бросить копейку? – Это был следующий наводящий вопрос.

– Я не забыл. Я пожалел.

Такой искренний безбилетник контролерше, очевидно, раньше не попадался, и она не знала, как в таких случаях себя вести.

– Вы думаете, мне приятно брать с вас штраф? – растерянно спросила она.

– По-моему, в этом заключается ваша работа.

– Нет, не в этом: моя работа в том, чтобы касса делала полные сборы. Да. А некоторые так и норовят обмануть. Или вовсе ничего не платят, а билет отрывают... – Контролерша, видимо, хотела сказать мне о роли доверия на современном этапе к человеку, о принципе «доверяй, но проверяй» и о том, что именно они, контролеры, призваны повышать сознательность граждан.

Но ничего этого она не сказала, а, махнув рукой, прошла вперед и села под табличкой «Места для пассажиров с детьми и инвалидов».

Троллейбус остановился, я бросил в кассу пятикопеечную монету и сошел. Это была моя остановка.

В школе было тихо и пустынно. Школьный сторож Пантелей Степаныч, а за глаза просто Пантелей, сидел в одиночестве возле раздевалки в своей неизменной кепочке, которую он носил, наверное, с тех пор, когда сам еще ходил в школу.

Пантелей – и сторож, и кассир, и завхоз, он чинит столы и парты, прибавляет плакаты и портреты знаменитых людей. Если бы ему поручили, он мог бы преподавать французский язык в пятом «Б» и делал бы это с неменьшим успехом, чем я. Во всяком случае, приходил бы вовремя.

Увидев меня, Пантелей скорчил гримасу, как Мефистофель, и погрозил пальцем:

– Смотри, жене все скажу.

Это была его дежурная шутка. Молодым учительницам он говорил то же самое, но заменял слово «жене» словом «мужу»: «Смотри, мужу все скажу».

Учительниц это раздражало, потому что мужей у многих не было, а Пантелей каждый раз напоминал об этом.

Я стал раздеваться и уже видел свой пятый «Б» в конце коридора второго этажа: Малкин бежит по партам, давя каблуками чернильницы, а Собакин наверняка сидит под потолком.

В пятом «Б» раньше помещался спортивный зал, и в классе до сих пор осталась стоять шведская стенка. Собакин каждый раз забирается на самую верхнюю перекладину, и каждый раз я начинаю урок с того, что уговариваю его сойти вниз.

Обычно это выглядит так:

- Собакин! – проникновенно вступаю я.
- А! – с готовностью откликается Собакин.
- Не «а», а слезь сию минуту.
- Мне отсюда лучше видно и слышно.
- Ты слышишь, что я тебе сказал?
- А че, я мешаю?..

Дальше начинается ультиматум с моей стороны, что, если-де он, Собакин, не слезет, я прекращаю урок и выйду из класса.

Собакин продолжает сидеть на стенке, завернув носы ботинок за перекладину. Класс молча, с интересом наблюдает. Несколько человек болеют за меня, остальные за Собакина.

Я проигрываю явно. Выйти я не могу: стыдно перед учениками и попадет от завуча. Собакин слезать не собирается. Мне каждый раз хочется подойти, стянуть его за штаны и дать с уха на ухо, как говорит Нинина мама, чтоб в стенку влип.

Кончается это обычно тем, что детям становится жаль меня, они быстро и без разговора водружают Собакина на его положенное место.

Сегодня я, как обычно, «открыл» урок диалогом с Собакиным.

- Собакин!
- А!
- Ну что ты каждый раз на стену лезешь? Хоть бы поинтереснее что придумал.
- А что?
- Ну вот, буду я тебя учить на свою голову.

Собакин смотрит на меня с удивлением. Он не предполагал, что я сменю текст, и не подготовился.

– А вам не все равно, где я буду сидеть? – спросил он.

Я подумал, что мне, в сущности, действительно все равно, и сказал:

– Ну сиди.

Я раскрыл журнал, отметил отсутствующих.

Уроки у меня скучные. Я все гляжу на часы, сколько минут осталось до звонка. А когда слышу звонок с урока, у меня даже что-то обрывается внутри.

Я прочитал в подлинниках всего Гюго, Мольера, Рабле, а здесь должен объяснять imparfait спрягаемого глагола и переводить фразы: «это школа», «это ученик», «это утро».

Я объясняю и перевожу, но морщусь при этом, как чеховская кошка, которая с голоду ест огурцы на огороде.

Я скучаю, и мои дети тоже скучают, а поэтому бывают рады даже такому неяркому развлечению, как «Собакин на стенке». Сегодня Собакин слез сразу, так как, получив мое разрешение, потерял всякий интерес публики к себе, а просто сидеть на узкой перекладине не имело смысла.

Отметив отсутствующих, я спрашиваю, что было задано на дом, и начинаю вызывать к доске тех, у кого мало отметок и у кого плохие отметки.

Сегодня я вызвал вялого, бесцветного Державина, у которого мало отметок, да и те, что есть, плохие. Дети дразнят его «Старик Державин».

- Сэ ле... матен... – начал Старик Державин.
- Матэн, – поправил я и, глядя в учебник, стал думать о Нине.
- Матен, – упрямо повторил Державин.

Я хотел поправить еще раз, но передумал – у парня явно не было способности к языкам.

– Знаешь что, – предложил я, – скажи своей маме, пусть она перестанет нанимать тебе учителя, а найдет своим деньгам лучшее применение.

– Можно, я скажу, чтобы она купила мне батарейки для карманного приемника? – Державин посмотрел на меня, и я увидел, что глаза у него синие, мраморного рисунка.

– Скажи, только вряд ли она послушает.

Державин задумался, а я, взглянув на его сведенные белые брови, подумал, что он вовсе не бесцветный и не вялый – просто парню не очень легко жить с такой энергичной мамой и таким учителем, как я.

Через класс пролетела записка и шлепнулась возле Тамары Дубовой.

– Дубова, – попросил я, – положи записку мне на стол.

– Какую, эту?

– А у тебя их много?

– У меня их нет.

Я почувствовал, что, если вовремя не прекратить этот содержательный разговор, он может затянуться. Удивительно, в общении с Дубовой я сам становлюсь дураком.

– Ту, что валяется возле твоей парты, – сказал я.

Дубова с удовольствием подхватила, подняла записку, положила передо мной на стол и пошла обратно, вихляя спиной. Для нее это была большая честь – положить мне на стол записку, да к тому же даровое развлечение – пройтись во время урока по классу.

Читать записку при всех мне было неловко, а прочитать хотелось: интересно знать, о чем пишут друг другу двенадцатилетние люди. Я сунул записку в карман.

– Э тю прэ кри Мари а сон фрер Эмиль, – читал Державин.

– Переведи, – сказал я, незаметно вытащил под стол записку и стал тихо разворачивать: она была свернута, как заворачивают в аптеках порошки.

– «Ты готов? – кричит Мария своему брату Емеле...»

– Не Емеле, а Эмилю, – поправил я.

– Эмилю... Нон, Мари...

Я развернул наконец записку: «Дубова Тома, я тебя люблю, но не могу сказать, кто я. Писал быстро, потому плохо. Коля».

Теперь понятно, почему этот известный неизвестный каждый раз лазит под потолок.

Мне вдруг стало грустно. Подумал, что им по двенадцати и у них все впереди. А у меня все на середине.

– Садись, – сказал я Державину.

Я встал и начал рассказывать о французском языке вообще – не о глагольных формах, а о том, что мне самому интересно: о фонемоидах, о том, почему иностранец, выучивший русский язык, все равно говорит с акцентом; о художественном переводе, о том, как можно одну и ту же фразу перевести по-разному. Я читал им куски из «Кола Брюньона» в переводе Лозинского. Читал Рабле в переводе Любимова.

Мои дети первый раз в жизни слушали Рабле, а я смотрел, как они слушают: кто подперев кулаком подбородок, кто откинувшись, глядя куда-то в окно, залитое небом. Дубова ела меня глазами, следила, как движутся мои губы. Павлов смотрел мне прямо в лицо: в первый раз он глядел не сквозь меня.

Передо мной сидели тридцать разных людей, раньше все они казались мне похожими друг на друга, как полтинники, и я никого не знал по имени, кроме Собакина и Дубовой.

Потом мы вместе стали переводить первую фразу из заданного параграфа: «C'est le matin», и получилось, что эти три слова можно перевести в трех вариантах: «вот утро», «это утро» и просто «утро».

В конце урока я вызвал Павлова – мальчика, над которым все смеются. В каждом коллективе есть свой предмет для насмешек. В пятом «Б» это Павлов, хотя он не глупее и не слабее других.

Помня о фонемоидах, Павлов старался произносить слова в нос: хотел продемонстрировать такое произношение, чтобы француз не обнаружил в нем иностранца. Я не понимал ни слова, потому что он ухитрялся произносить в нос не только гласные, но и согласные.

Дети переводили глаза с меня на Павлова, с Павлова на меня. Я сидел непроницаем, как сфинкс, – они решили, что Павлов читает правильно. И не засмеялись.

Зазвенел звонок. Это Пантелей включил электрические часы. Мне показалось, что Пантелей рано их включил. Я сверил со своими – все было правильно. Урок кончился, а я не успел объяснить imparfait глаголов первой группы, не успел опросить двоечников.

Это значит отставание от программы; это значит высокий процент неуспеваемости; это значит будет о чем поговорить на педсовете.

На перемене я иду в столовую. Мне надо прежде зайти в учительскую, положить журнал. Но идти туда я не хочу, потому что встречу завуча или директора.

В столовой завтракает «продленный день». Возле буфета – очередь: девчонки и мальчишки тянут пятаки, каждый мечтает о пирожке с повидлом.

Я люблю наблюдать детей в метро, на улице, в столовой, но не на уроке. На уроке я испытываю так называемое «сопротивление материала».

Я хотел взять сосиски с капустой, но в это время в столовую вошла завуч Вера Петровна.

Я не умею правильно есть сосиски: люблю их кусать, чтобы кожица хрустела. Такая манера есть не соответствует светскому этикету, а обнаруживать перед завучем свою несветскость мне не хотелось.

Тем не менее я беру сосиски и иду к столу.

В обществе Веры Петровны я чувствую себя сложно. Семьи у нее нет, работает она хорошо – в этом смысл ее жизни. Семьи у меня тоже нет, работаю я плохо – и смысл моей жизни, если он есть, не в этом.

Для Веры Петровны нет людей умных и глупых, сложных и примитивных. Для нее есть плохой учитель и хороший учитель.

Я – плохой учитель. Перед ней я чувствую себя несостоятельным и поэтому боюсь ее. Я обычно стараюсь дать ей понять, что где-то за школьными стенами проходит моя иная, главная жизнь. И в той жизни я куда более хозяин, чем остальные учителя, которые не читают Рабле не то что в подлиннике, но и в переводе Любимова.

Сегодня я ничего не давал понять. Я ел сосиски прямо с кожицей, ждал, когда Вера Петровна начнет говорить о моем опоздании.

– Слякоть, – сказала она, глянув в окно. – Скорее бы зима...

Я промолчал. Мне вовсе не хотелось, чтобы зима приходила скорее, потому что у меня нет зимнего пальто. Кроме того, я понимал, что «слякоть» – это проявление демократизма. Это значило: «Вот ты опаздываешь, халтуришь, а я с тобой как с человеком разговариваю».

Я молчал. Вера Петровна блуждала ложкой в супе.

– Скажите, Валентин Николаевич, – начала она тихим семейным голосом, – вы после института пошли работать в школу... Вы так хотели?

– Нет, я хотел поехать в степь.

Я действительно хотел тогда поехать в степь.

Не для того, чтобы внести свой вклад, – его и в Москве можно внести. Не для того, чтобы наблюдать жизнь, – ее где угодно можно наблюдать.

Мне хотелось в другие условия, потому что, говорят, в трудностях раскрывается личность. Может, вернувшись потом в Москву, я стал бы переводить книги и делал бы это не

хуже, чем Лозинский. Может, во мне раскрылась бы такая личность, что Вера Петровна просто ахнула.

Но, кроме всего, мне хотелось посмотреть, какая она, степь, и познакомиться с людьми, которые живут там, работают и обходятся без московской прописки.

– В какую степь? – не поняла Вера Петровна. – В казахстанскую?

– Можно в казахстанскую, можно и в другие.

Вера Петровна, наверное, подумала, что я ее разыгрываю и что это неуместно.

– Что ж вы не поехали? – строго спросила она.

Теперь придется объяснять, что у меня очень больная мама, от которой ушел папа. И придется рассказать про Нину, которая к тому времени, когда меня распределяли, не закончила еще своего высшего образования, а заканчивает только в этом году.

– Я нужен был в Москве.

– Кому?

Вера Петровна думала, что я скажу – пятому «Б».

– Двум женщинам, – сказал я.

Завуч стала быстро есть суп. Она решила не задавать больше вопросов на посторонние темы, потому что неизвестно, о чем я еще захочу ей рассказать в порыве откровенности. Вера Петровна решила говорить только о деле.

– Вот вы сегодня опять опоздали, – начала она. – За эту неделю третий раз.

– Четвертый, – поправил я.

– Вам не стыдно?

Я задумался. Сказать, что совсем не стыдно, я не мог, стыдно – тоже не мог.

– Не очень, – сознался я.

– А напрасно. Вы понимаете, что это такое? Был звонок. Вас нет, дети волнуются...

– Что вы! – возразил я. – Наоборот, они думают, что я заболел, и очень рады.

Вера Петровна посмотрела на меня внимательно и вдруг смутилась. Наверное, подумала, что я кокетничаю с ней. Это было приятно ей, хоть я и плохой учитель. А я, когда она покраснела, впервые увидел, что она еще молода и вовсе не так самоуверенна.

– Скажите, – спросила она, – неужели у вас нет большой мечты? – Это был уже не наводящий вопрос. Это был простой человеческий вопрос.

– Есть. Я хочу писать рассказы.

– Почему же не пишете?

– Я пишу, но их не печатают.

– Почему? – изумилась она.

– Говорят, плохие.

– Не может быть. У вас должны быть хорошие рассказы.

Вот всегда так. Во мне всегда подозревают больше, чем я могу. Еще в детстве, когда я учился играть на рояле, учительница говорила моей маме, что я способный, но ленивый. Что если бы я не ленился, то из меня вышел бы Моцарт. А я точно знаю, что Моцарт бы из меня не вышел при всех условиях.

Во время нашего разговора в столовую вошла учительница начальных классов Кудрявцева. Она молчит, в разговоре не участвует, обдумывает предстоящий урок. Так хороший актер перед спектаклем входит в образ.

Появилась учительница пения Лидочка.

Она мечтает стать киноактрисой и свою работу в школе считает временной; знакома со многими знаменитыми писателями, артистами, и когда рассказывает о них, то называет: Танька, Лешка.

Пришел наш второй мужчина – учитель физкультуры Евгений Иваныч, или, как его фамильярно зовут ученики, Женечка.

Меня ученики зовут «шик мадера», а Женечку «тюлей». Он считает меня размазней, интеллигентом, скучным человеком, потому что я не поддерживаю за столом Лидочкиных изысканных тем. Женечка понимает толк в стихах, любит народные песни, но стесняется обнаружить это. Ему нравится казаться хуже, чем он есть.

Мне нравится казаться лучше, чем я есть, Лидочке – талантливее.

Я редко встречаю людей, которые хотят казаться тем, что они есть на самом деле.

В конце перемены, перед самым звонком, является наш третий мужчина (всего, включая Пантелея, нас четверо), учитель физики Александр Александрович, или, как зовут его дети, Сандя.

Санде пятьдесят лет. Он любит говорить, что всех своих врагов нажил честно. Это правда. Сандя никого не боится, и, для того чтобы говорить правду, ему не надо постоять во сне между двух радуг. Сандя «режет» эту самую правду направо и налево. Он постоянно всем недоволен. И часто он прав. Но вместе с тем я всегда чувствую, что его больше всего интересует собственная персона. Я знаю, он подсчитывает, сколько съел за день жиров, белков и углеводов. Если углеводов не хватает, Сандя в конце дня съедает кусочек черного хлеба.

Сейчас он пил кофе с бутербродами, которые принес из дому. Ел бутерброд с икрой – в ней много белков – и на чем свет поносил новый фильм.

Фильм был на самом деле плохой, но я чувствовал, что Сандя врет.

– Послушайте, – поинтересовался я, – зачем вы врете?

Сандя на минуту перестал жевать. За столиком рассмеялись, потому что все видели фильм «Знакомьтесь, Балувев».

– С вами сегодня невозможно серьезно разговаривать, – сказала Вера Петровна и поправила волосы.

Зазвенел звонок. Пантелей исправно нес службу. Мне надо было идти в девятый «А».

У нашей школы есть «преимущество» перед другими школами в районе – рядом колхозный базар. В других школах лучшие показатели по успеваемости и посещаемости, а возле нашей – базар.

Я пользуюсь этим преимуществом, чтобы купить Нине цветы и виноград. Дарить цветы считается признаком внимания и изысканности, а Нине будет приятно, если я проявлю внимание и изысканность.

Ходить с цветами по улице я стыжусь, поэтому прячу цветы в портфель.

За виноградом очередь метров триста. Если я стану в хвост очереди, тогда мне придется пройти мелкими и редкими шагами эти триста метров, а я тороплюсь к Нине.

Я подхожу прямо к продавщице и говорю ей, протягивая металлический рубль:

– Килограмм глюкозы.

Дальше действие начинает развиваться в двух противоположных направлениях. В кино это называется «параллельный монтаж» и «монтаж по контрасту». У меня одновременно и «параллельный», и «по контрасту».

Продавщица улыбается и начинает взвешивать мне виноград, отбирая спелые гроздья и выщипывая из них гнилые ягоды. Она так делает потому, что я не требую для себя никакого исключения, и потому, что я похож на Смоктуновского.

С другой стороны, мною заинтересовалась очередь, и выразителем ее интересов явился старик, который должен был получать виноград вместо меня и тоже приготовил для этой цели металлический рубль.

– Молодой человек, – строго сказал старик, – я вас что-то здесь не видел...

– Правильно, – подтвердил я. – Вы меня видеть не могли, я только что подошел.

– А вы, между прочим, напрасно обижаетесь, – укоризненно заметил старик. – Если вы отходите, надо предупреждать. В следующий раз дождитесь последнего, а потом уже идите по своим делам.

– Хорошо, – пообещал я.

Я взял виноград и пошел. Очередь энергично выразила свое отношение мне в спину.

Нина живет на улице Горького, за три остановки от рынка. Я мог бы сесть на троллейбус, но иду пешком, потому что у меня опять неудобные деньги: три копейки и пять копеек. Кроме того, троллейбус останавливается на противоположной Нинину дому стороне, а я не люблю переходить дорогу.

Говорят, что я со странностями. Я, например, помногу ем, а все равно худой. Перевожу рассказы с одного языка на другой, хотя об этом меня никто не просит и денег не обещает. Не даю частных уроков, хотя об этом меня просит большое количество людей и обещают по два пятьдесят за час.

Нина говорит, что я тонкая натура и у меня нервы.

Нинин папа – что в двадцать пять лет у человека нервов не бывает.

Нинина мама – что все зависит не от возраста, а от индивидуальных особенностей организма.

К моим индивидуальным особенностям она относится пренебрежительно. Презирает меня за то, что я живу в каком-то Шелапутинском переулке, а не в центре. За то, что я не из профессорской семьи, что у меня нет зимнего пальто, что я не снимаюсь в кино, не печатаюсь в газетах и зарабатываю меньше, чем она.

Чтобы понравиться Нининой маме, я, предположим, мог бы обменять свою комнату на меньшую и переехать на улицу Горького. Мог бы сшить себе хорошее пальто, напечататься в газете. Но заработать больше, чем Нинина мама, я не могу.

Нинина мама работает косметичкой. Дома она приготавливает крем для лица, но не для своего. Себе она покупает крем в польском магазине «Ванда», а тот, что делает, продает клиентам по три рубля за баночку.

Рецепт изготовления Нинина мама держит в большом секрете – боится, что стоит лишь намекнуть, как все сразу догадаются и тоже захотят сами делать крем.

Я бы, например, смог, потому что знаю секрет. Он прост, как все гениальное. Берется два тюбика разного крема, по пятнадцать копеек за тюбик – можно купить в аптеке, в парфюмерном магазине, можно при банях, в зависимости от того, куда удобнее зайти, чтобы не переходить дорогу. Надо взять два тюбика, выпустить крем из одного, из другого, перемешать палочкой или ложкой – лучше палочкой, потому что ложка будет пахнуть, – налить немного одеколona для запаха и аккуратно разложить по баночкам. Вот и все.

По-моему, не тяжело, и каждый при желании мог бы заменить Нинину маму на ее посту. Но она имеет на этот счет собственное мнение, отличное от моего. Двигается она с достоинством, кожа у нее белая – польские кремы, говорят, на меду и на лимонах. Собственные мнения, которых у нее много и все разные, высказывает медленно и в нос.

Нинин папа считается в доме на голову ниже мамы. Работает он инженером. Правда, он хороший человек, но, как говорит Нинина мама, хороший человек – не специальность, денег за это не платят.

Я все это понимаю, поэтому хожу к Нине редко – в тех случаях, когда она больна и когда мы ссоримся.

С Ниной мы знакомы пять лет, но наши отношения до сих пор не выяснены. За это время у нас было много хорошего и много плохого.

У меня такое чувство, будто сам Господь Бог поручил мне заботу о ней. И я не знаю, то ли жить без этого не могу, то ли мне это ни к чему. Я до сих пор не знаю, поэтому мы ссоримся. Вчера снова поссорились, и я опять не знаю, так ли необходимо идти к ней с цветами. Но

я представляю, как она отрывисто смеется, курит папиросу за папиросой, говорит всем, что наконец-то отделалась от меня, и не спит ночь. И вот я иду к ней после работы, чтобы она перестала курить и спала ночью.

Откровенно говоря, когда мы ссоримся, я начинаю думать о себе хуже, чем это есть на самом деле, а о Нине лучше. Начинаю смотреть глазами Нининой мамы. А мне хочется видеть себя глазами Нины.

Открыла мне соседка – видно, неправильно сосчитала количество звонков.

В квартире Нины живет восемь семей, и на двери прикреплен списочек всех жильцов в алфавитном порядке. Против каждой фамилии проставлено количество звонков.

Против Нининой фамилии – восемь звонков, потому что начинается она с буквы «Я» и стоит, естественно, последней.

Каждый раз, когда подхожу к двери, я думаю, что если нажимать кнопку редко, переживая после каждого звонка, то в квартире, как в мультфильме, изо всех дверей в алфавитном порядке будут высовываться головы. Высовываться и слушать.

Я быстро звоню восемь раз. Представляю, как при этом все квартиросъемщики бросают свои дела и начинают торопливо считать, шевеля губами.

Сегодня мне открыла соседка, ее фамилия начинается с буквы «Ш» и стоит в списке перед Нининой. Она часто отпирает мне дверь, и мы хорошо знакомы.

Когда я вошел в комнату, Нина чертила, нагнувшись над столом, с умным видом рисовала кружок. Весь лист величиной с половину простыни был изрисован стрелочками, кружками и квадратиками.

Увидев меня, Нина перестала чертить, выпрямилась и покраснела от неожиданности, от радости, от обиды, которая еще жила в ней после ссоры, и оттого, что я застал ее ненакрашенной.

Моя Нина бывает красивая и некрасивая. Бесцеремонная и застенчивая. Умная и дура. Ее любимый вопрос: «Хорошо это или плохо?» – и каждый раз я не знаю, как ей ответить.

Мать поздоровалась со мной приветливее, чем обычно, и, прихватив соль, ушла на кухню. Я понял – она в курсе наших дел.

Я разделся и сел на диван. Нина снова принялась чертить. Мы молчали.

Она, видно, собиралась сказать мне нечто такое, что бы я понял раз и навсегда, но ждала, когда я начну первый. А я не начинал первый, и это злило ее.

Телевизор был включен. Шла передача «Встреча с песней». За столом сидели действующие лица и их исполнители, вели непринужденную дружескую беседу в стихах. Время от времени все замолкали, за кадром включали песню – тогда один из артистов принимался старательно шевелить губами. Артист, изображающий летчика, спел подобным образом две песни – одну тенором, а другую басом.

Когда передача закончилась, диктор стал перечислять фамилии тех, кто эту передачу готовил. Я подумал: хорошо бы всей этой компании приснилась ночью радуга.

– Валя! – Нина отложила карандаш. Не выдержала. – Прежде всего я хочу знать, за что ты меня не уважаешь?

Все-таки лучше, если бы она была только умная.

– С чего ты взяла, что я тебя не уважаю?

– Мы договорились в семь. Я ждала до семи пятнадцати, стояла, как не знаю кто... Я не говорю уже о любви, хотя бы соблюдай приличия...

Последнюю фразу Нина придумала не сама, заимствовала ее из немецкого фильма «Пока ты со мной» с Фишером в главной роли...

– Я пришел в семь шестнадцать, тебя не было, – сказал я.

– Почему же ты пришел в семь шестнадцать, если мы договорились в семь?

– Я не мог перейти дорогу: там, возле метро, поворот – и не поймешь, какая машина свернет, какая поедет прямо.

– Ну что ты врешь?

– Я не вру.

– Значит, считаешь меня душой...

– Иногда считаю.

Нина посмотрела на меня с удивлением. По ее сценарию я должен был сказать: «Брось говорить глупости, я никогда не считал тебя душой». Тогда бы она заявила: «И напрасно. Я действительно круглая дура, если потратила на тебя лучшие годы своей жизни».

Но я путал карты, и Нине пришлось на ходу перестраиваться.

– И напрасно... – сказала она. – Я все вижу. Все.

Что там она видит? Будто дело в том, пришел я в семь или в семь шестнадцать. Главное, что я не делаю предложения.

– Что ты видишь? – спросил я.

– То, что ты врешь. – Нина побледнела сильнее, наверное, действительно не спала ночь.

– Когда я говорю правду, ты не веришь.

– Ты не думал, что я вчера уйду...

Я понял, Нина решила не перестраиваться, а просто сказать мне все, что приготовила для меня ночью.

– Ты привык, что я тебя всегда жду. Пять лет жду. Но больше я ждать не буду. Понятно?

Вот тут бы надо встать и сделать предложение. Но я молчу.

Где-то в казахстанской степи есть сайгаки – такие звери, похожие на оленей. Я их видел в кино. Сайгаки эти жили еще в одно время с мамонтами, но мамонты вымерли, а сайгаки остались и, несмотря на свое древнее происхождение, бегают со скоростью девяносто километров в час.

Ленька Чекалин рассказывал, как охотился ночью с геологами на грузовике. Если сайгак попадает в свет фар, он не может свернуть, наверное, потому, что ночью степь очень черная и сайгак боится попасть в черноту.

Представляю, что он чувствует, когда бежит вот так, я очень хорошо представляю, поэтому не хотел бы охотиться на сайгака. Но вцепиться в борт грузовика, ощутить всей кожей пространство и видеть в высветленном пятне бегущего древнего зверя я бы хотел.

Если бы меня после института не оставили в Москве, я, может, увидел бы все это своими глазами. Но меня оставили в Москве, и я боюсь, что теперь никуда не поеду. А если женюсь на Нине, то вообще, кроме Москвы и Московской области, а также курортных городов Крыма и Кавказа, ничего не увижу.

Нина ждала, что я отвечу, но я молчал.

– И вообще ты врешь, будто переводишь по вечерам, – грустно сказала она. – Где твои переводы? Хоть бы раз показал...

– Нет никаких переводов. Я по вечерам к Леньке хожу, а иногда в ресторан.

– Я серьезно говорю. – Нина подошла ко мне. – Ты куда-то уходишь, я... ну, в общем, правда, покажи мне свои переводы.

– Да нет никаких переводов, – сказал я серьезно. – Я к Леньке хожу, а тебя не беру, ты мне и так за пять лет надоела. Там другие девушки есть.

Нина засмеялась, села возле меня, и я почувствовал вдруг, что соскучился. Мне даже невероятным показалось, что когда-то я обнимал ее. Нина быстро оглянулась на дверь. Я прижал ее к себе, услышал дыхание на своей шее, подумал – правда.

– Дурак, вот ты кто.

Эту фразу Нина не планировала, и это была ее первая умная фраза. День еще не кончился, и если мне повезет, то я услышу вторую.

В шесть часов пришел отец, и все сели за стол. В последнее время каждый раз, когда я прихожу, меня усаживают обедать.

Разливая суп, Нинина мама переводила глаза с меня на Нину, с Нины – на меня. Ей хотелось понять по нашим лицам, помирились мы или нет.

– Разольешь, – предупредил отец. Он сидел за столом в пижамных штанах, хотя жена каждый раз говорила ему, что это не «комильфо».

Нинина мама так ничего и не поняла по нашим лицам. Пребывать в неизвестности она больше не могла, поэтому спросила:

– Ну как?

Нина покраснела.

– Мама!

– Ну как суп, я спрашиваю. Валя, как вам суп?

Суп был нельзя сказать чтобы вкусный, но лучше, чем те, которые я ем в школе.

– Ничего, – сказал я.

Нинина мама посмотрела на меня с удивлением, потому что только последний хам может есть и хаять то, что ему дают. Бывают такие положения, в которых говорить правду неприличнее, чем врать. Но сегодня надо мной висела радуга.

– Очень вкусный, мамочка, – быстро сказала Нина.

Это была ее следующая умная фраза. Если так пойдет дело, то сегодня Нина побьет рекорд.

– Валя, вы читали в «Правде», как орлы напали на самолет? – спросил отец.

Вряд ли он спросил это из соображений такта. Просто знал, что следующий вопрос о супе жена предложит ему, за двадцать пять лет совместной жизни он выучил на память все ее вопросы и ответы.

– Читал, – сказал я.

– Что, что такое? – заинтересовалась Нина.

– Летел пассажирский самолет где-то в горах, кажется. А навстречу ему три орла. Один орел разогнался – и прямо на самолет.

– Идиот! – сказала Нинина мама.

– Ну, ну... – Нина нетерпеливо заерзала на стуле.

– Ну и упал камнем с проломленной грудью, а те два улетели, – закончил отец.

– Надо думать, – заметила Нинина мама, которая тоже улетела бы, будь она на месте тех двух орлов. – Только последний дурак бросится грудью на самолет.

– Это хорошо или плохо? – Нина посмотрела на меня.

– Для орла плохо, – сказал я.

– Ничего ты не понимаешь... – Нина стала глядеть куда-то сквозь стену, как Павлов сквозь меня, а я задумался: действительно, хорошо это или плохо? Мог бы я броситься грудью на самолет или улетел, как те два орла?..

– Представляешь, – медленно проговорила Нина, – наверное, он решил, что это птица.

Она глядела сквозь стену; в руках забытый кусочек хлеба, лицо растроганное и вдохновенное, глаза светло-зеленые, чистые, будто промытые. Если бы знать, что она может поехать за сайгаками, я согласился бы просидеть в этой комнате всю жизнь и никуда не ездить. Согласился бы каждый день общаться с ее мамой, каждый день встречать в школе Сандю – только бы знать, что Нина может поехать.

Все думали о своем и молчали, кроме Нининой мамы. Она, очевидно, думала о том, сделаю я сегодня предложение или нет, а вслух рассказывала про соседа, который ушел от жены к другой женщине, несмотря на ребенка, язву желудка и маленькую зарплату.

Фамилия этого человека начиналась с буквы «А», звонить ему надо было один раз, поэтому в лицо я его не видел. А жену видел и на месте соседа тоже не посмотрел бы на язву желудка и на маленькую зарплату.

– Прожить десять лет... как вам это нравится?! – возмущалась Нинина мама.

– Мне нравится, – сказал я. – На месте вашего соседа я бы раньше ушел.

Нина засмеялась.

– А как же, по-вашему, ребенок? – поинтересовалась мама.

Отец улыбнулся в тарелку.

– Уходят от жены, а не от ребенка.

Нина снова засмеялась, хотя я ничего смешного не сказал.

– Но ведь существуют... – Нинина мама стала искать подходящие слова. Мне показалось, я даже услышал, как заскрипели ее мозги.

– Нормы, – подсказал отец.

– Нормы, – откликнулась Нинина мама и испуганно посмотрела на меня.

Я должен был бы сказать, что, конечно, существуют нормы и долг порядочной женщины строго их соблюсти. Но я сказал:

– Какие там нормы, если их друг от друга тошнит?

Отец хотел что-то сказать, но тут он подавился и закашлялся.

Жена хотела заметить ему, что это не «комильфо», но только махнула рукой и быстро проговорила:

– Дядя Боря звал в воскресенье на обед. Пойдем?

Значит, меня собираются представить будущим родственникам.

– А сегодня вас дядя не звал? – спросил я.

– При чем тут сегодня? – не понял отец.

– Ни при чем. Просто я жду, может, вы уйдете...

Нина бросила вилку и захохотала, а Нинина мама сказала:

– Вечно эти молодые выдрючиваются.

«Выдрючиваться» в переводе на русский язык обозначает «оригинальничать, стараться произвести впечатление».

Странно, сегодня я целый день только и старался быть таким, какой есть, а меня никто не принял всерьез. Контролерша подумала, что я ее разыгрываю, Вера Петровна – что кокетничаю, старик решил, что я обижаюсь, Нина уверена, что я острою, а Нинина мама – что «выдрючиваюсь».

Только дети поняли меня верно.

Родители ушли. Мы остались с Ниной вдвоем.

Нина, наверное, думала, что сейчас же, как только закроется дверь, я брошусь ее обнимать, и даже приготовила на этот случай достойный отпор вроде: «Ты ведешь себя так, будто я горничная». Но дверь закрылась, а я сидел на диване и молчал. И не бросался.

Это обидело Нину. Поджав губы, она стала убирать со стола, демонстративно гремя тарелками.

Я вспомнил, что у меня в портфеле лежат для нее цветы, достал их, молча протянул.

Нина так растерялась, что у нее чуть не выпала из рук тарелка. Она взяла цветы двумя руками, смотрела на них долго и серьезно, хотя там смотреть было не на что. Потом подошла, села рядом, прижалась лицом к моему плечу. Я чувствовал щекой ее мягкие теплые волосы, и мне казалось, что мог бы просидеть так всю свою жизнь.

Нина подняла голову, обняла меня, спросила таким тоном, будто читала стихи:

– Пойдем в воскресенье к дяде Боре?

За пять лет я так и не научился понимать ход ее мыслей.

– Денег не будет – пойдем.

– Какой ты милый сегодня! Необычный.

– Не вру, вот и необычный.

Зазвонил телефон. Нинины руки лежали на моей шее, и я не хотел вставать, Нина – тоже. Мы сидели и ждали, когда телефон замолчит.

Но ждать оказалось хуже. Я снял трубку.

– Простите, у вас случайно Вали нет? – робко спросили с того конца провода. Я узнал голос Леньки Чекалина.

– Случайно есть, – сказал я.

– Скотина ты – вот кто! – донесся до меня моментально окрепший баритон. Ленька тоже узнал меня. Я вспомнил, что обещал быть у него вечером.

– Здравствуй, Леня, – поздоровался я.

– Чего-чего? – Моему другу показалось, что он ослышался, потому что такие слова, как «здравствуй», «до свидания», «пожалуйста», он позабыл еще в школе.

– Здравствуй, – повторил я.

– Ты с ума сошел? – искренне поинтересовался Леня.

– Нет, просто я вежливый, – объяснил я.

– Он, оказывается, вежливый, – сказал Ленька, но не мне, а кому-то в сторону, так как голос его отодвинулся. – Подожди, у меня трубку рвут... – это было сказано мне.

В трубке шелкнуло, потом я услышал дыхание, и высокий женский голос позвал:

– Валя!

Меня звали с другого конца Москвы, а я молчал. Врать не хотелось, а говорить правду – тем более.

Сказать правду – значило потерять Нину, которая сидит за моей спиной и о которой я привык беспокоиться. Я положил трубку.

– Кто это? – выдохнула Нина. У нее были такие глаза, как будто она чуть не попала под грузовик.

– Женщина, – сказал я.

Нина встала, начала выносить на кухню посуду.

Она входила и выходила, а я сидел на диване и курил. Настроение было плохое, я не понимал почему: я прожил день так, как хотел, никого не боялся и говорил то, что думал. На меня, правда, все смотрели с удивлением, но были со мной добры.

Я обнаружил сегодня, что людей добрых гораздо больше, чем злых, и как было бы удобно, если бы все вдруг решили говорить друг другу правду, даже в мелочах. Потому что, если врать в мелочах, по инерции соврешь и в главном.

Преимущества сегодняшнего дня были для меня очевидны, однако я понимал, что, если завтра захочу повторить сегодняшний день, – контролерша оштрафует меня, Вера Петровна выгонит с работы, старик – из очереди, Нина – из дому.

Оказывается, говорить правду можно только в том случае, если живешь по правде. А иначе – или ври, или клади трубку.

В комнату вошла Нина, стала собирать со стола чашки.

– Ты о чем думаешь? – поинтересовалась она.

– Я думаю, что жить без вранья лучше, чем врать.

Нина пожала плечами:

– Это и дураку ясно.

Оказывается, дураку ясно, а мне нет. Мне вообще многое не ясно из того, что очевидно Санде, Нининой маме. Но где-то я недобрал того, что очевидно Леньке.

Ленька закончил институт вместе со мной и тоже нужен был в Москве двум женщинам. Однако он поехал в свою степь, а я нет. Я только хотел.

Пройдет несколько лет, и я превращусь в человека, «который хотел». И Нина уже не скажет, что я тонкая натура, а скажет, что я неудачник.

– Ты что собираешься завтра делать?

– Ломать всю свою жизнь.

Нина было засмеялась, но вдруг покраснела, опустила голову, быстро понесла из комнаты чашки. Наверное, подумала, что завтра я собираюсь сделать ей предложение.

Уж как пал туман...

– Челку поправь! – приказала Ирка.

– Как? – виновато поинтересовалась Наташа.

– Как, как, господи! – расстроилась Ирка, вытерла руки о фартучек и задвигалась вокруг Наташи. Двигалась она легко, прикосновения у нее были легкие, и пахло от нее французскими духами.

Ирка обладала тем типом внешности, о котором говорят: «Ничего особенного, но что-то есть». У Ирки было все: она работала в Москонцерте, в нее были влюблены все чтецы и певцы, ездила за границу – то за одну, то за другую. Собиралась замуж – у нее были наготове три или четыре жениха.

Наташа обладала тем типом внешности, о котором говорят: «Вроде все хорошо, но чего-то не хватает». То, что все хорошо, считала Наташина мама и еще несколько доброжелательных людей, остальная часть человечества придерживалась мнения, что чего-то не хватает. Со временем доброжелательные люди примкнули к остальной части человечества, верной осталась только мама. Она говорила: «У тебя, Наташа, замечательные волосы, к тебе просто надо привыкнуть».

– Сиди прямо! – приказала Ирка.

Она вышла из кухни, потом вернулась с французскими духами. Ирка не жалела для Наташи ни духов, ни одного из своих женихов, но это никогда ничем не кончалось. Певцы пели песни советских композиторов, чтецы читали: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..» Фокусники показывали фокусы со спичками.

Не веря больше в эстрадный жанр, Ирка раздобыла где-то настоящего мужчину, который плавал в Баб-эль-Мандебском проливе и ходил с ружьем на медведя.

– Щас я тебя пофурыкаю, – предупредила Ирка.

– Не надо...

– Понимала бы! – Ирка заскакала вокруг Наташи, опрыскивая ее из пульверизатора.

– Не надо. – Наташе жаль было духов, которые назывались «Chat noir», что в переводе означает: «Черная кошка». – Все равно ничего не получится.

– Неизвестно, – возразила Ирка. – Он строит ГЭС, не помню какую, в труднейших условиях. Строитель лучшей жизни. Про таких Пахмутова песни пишет, а он к нам живой придет.

– Может, не придет? – с надеждой спросила Наташа.

В это время позвонили в дверь.

Наташа вздрогнула и посмотрела на Ирку, Ирка – на Наташу, выражение лиц у обеих на мгновение стало бессмысленным. Потом Ирка метнулась в прихожую, и оттуда послышались голоса.

Наташа сидела на низкой табуретке посреди кухни и не знала, что делать.

Она окончила консерваторию, умела петь с листа и писать с голоса, могла услышать любой самый низкий звук в любом аккорде. А здесь, на Иркиной кухне, она чувствовала, что это никому не надо и она не в состоянии поменять все то, что она может, на то, чего не может.

Наконец отворилась дверь и вошел настоящий мужчина, строитель лучшей жизни.

Наташа успела заметить, что рубашка у него белая и некрахмальная, лежит мягко... Волосы русые, растут просто, а лицо неподвижно, будто замерзло, и на нем замерзло обиженное выражение.

– Знакомьтесь, – сказала Ирка.

– Толя, – строитель протянул руку.

– Наташа, – она пожала его жесткие пальцы и посмотрела на Ирку.

– Садитесь, – непринужденно руководила Ирка.

Толя сел и прочно замолчал. Иногда он поднимал глаза на стену, а со стены переводил на потолок.

– Скажите, – начала Ирка, – вы действительно плавали в Баб-эль-Мандебском проливе?

– Ну, плавал, – не сразу ответил Толя.

– А как, как, как? – обрадовалась Ирка.

Толя очень долго молчал, потом сказал:

– В скафандре.

– А зачем? – тихо удивилась Наташа.

– А надо было... – недовольно сказал Толя.

– И на медведя ходили? – Ирка не давала беседе обмелеть.

– Ну, ходил...

– А как вы ходили?

Ирке надо было подтвердить, что в ее доме настоящий мужчина.

– С ружьем, – сказал Толя.

– Страшно было? – тихо поинтересовалась Наташа.

– Не помню. Я давно ходил.

Ирка тем временем подала кофе.

– Я коньяк принес, – сказал строитель, – на лестнице поставил.

– Почему на лестнице? – Ирка подняла брови.

– Не знаю, – сказал строитель, и Наташа поняла, что он постеснялся.

Ирка вышла на лестничную площадку и увидела возле своей двери бутылку.

– Могли стащить, – объяснила она, вернувшись.

– Ага... – беспечно сказал строитель.

– А вы есть хотите? – тихо спросила Наташа.

– Ужас! – сказал Толя, и всем стало весело.

Когда половина бутылки была выпита, Толя первый раз посмотрел на Наташу и сказал:

– Вчера попал в одну компанию, там такая девочка была... И парень с ней в кожаных штанах. Вам бы он не понравился.

– Почему? – спросила Наташа.

– Потому что вы серьезная.

«Как раз понравился бы», – подумала Наташа, но ничего не сказала.

– Ну, ну... – Ирка обрадовалась, что Толя заговорил.

– Он пижонить начал, говорит: в каждом человеке девяносто процентов этого... Ну, сами понимаете.

– Чего? – не поняла Ирка.

– Дерьма. А я ему говорю: «Ты не распространяй свое содержание на других».

Толя замолчал. Наташа поняла, что он обижен и переживает.

– Не обращайтесь внимания, – сказала она.

– Да вообще-то, конечно, – согласился Толя.

– Вы где живете?

– Нигде.

– Как это «нигде»?

– Очень просто. Плаваю – и все.

– А дом-то у вас есть?

– Был, а теперь нет. Давайте выпьем.

Все подняли рюмки.

– Жена сказала: «Надоел ты мне». Я и ушел.

– Жалко было? – спросила Ирка.

– Чего?

– Жену.

– Жалко. – Толя прищурился. – До слез жалко. Однажды ночью просыпаюсь и плачу. Слезы текут, ничего поделать не могу. Думаю: господи, да я ли это...

Все замолчали, думая о своей жизни, и только Ирка не умела думать о себе.

– Неужели никак нельзя было? – Она посмотрела на Толю.

– Наверное, нельзя. Я без жены еще как-то проживу. А без своей работы – нет.

– Понятно, – сказала Наташа. Ей это было понятно.

Ирка включила приемник. Заиграл симфонический оркестр.

У Толи глаза были голубые, а волосы русые. За его спиной висела занавеска, а за занавеской лежал город – далеко, во все стороны. А после города кончались дороги и начинались поля и деревни, потом другие города.

Наташа вдруг кожей ощутила это все: расстояние и бесконечность.

– Так-то ничего бы, – сказал Толя, – плохо только, писем нет. Когда на корабль письма приходят, как будто веревка от земли протягивается. Не утонешь, ни фига с тобой не сделается. А когда писем нет...

– Хотите, я вам напишу? – предложила Наташа.

Толя промолчал. Ему не нужны были Наташины письма. Вот если бы написала жена или в крайнем случае девочка – приятельница парня в кожаных штанах.

Толя многое умел: ходить на медведя, опуститься на дно в скафандре. Он умел интересно жить, но не умел интересно рассказать об этом. И не в силах был поменять то, что он может, на то, чего не может.

– Ничего, – сказала Ирка, – все будет хорошо.

Ей хотелось, чтобы у всех было все хорошо.

Соседская девочка собиралась в детский сад. Она вытаскивала на середину комнаты все свои игрушки и разговаривала с ними. Слов было не разобрать, но звук голоса и интонации доносились четко. Дом был блочный, слышимость хорошая.

Наташа лежала с открытыми глазами, слушала девочку и думала о себе. О том, как три года назад Игорь сделал предложение, она согласилась в ту же секунду, потому что Игорь был не халтурщик – они много бы переделали в жизни хороших дел. А на другой день он позвонил, извинился и сказал, что передумал.

– Не сердись? – спросил он.

– Да ну, что ты... – сказала Наташа. – Конечно, нет...

Говорят: война... А бывает, что и в нормальной жизни, среди гостей и веселья, все может кончиться одним телефонным звонком.

– Сми-ми-и! – кричала сверху девочка. Ей что-то надевали, а она протестовала.

В комнату из кухни вошла Наташина мама. Она работала медсестрой в больнице, любила тяжелобольных и презирала тех, кто болел несерьезно. Она любила людей, которым была необходима.

Мать послушала, как кричит сверху девочка, и сказала:

– Господи, всю нервную систему ребенку расшатали... – Если бы у нее была своя внучка, она ни за что не шатала бы ее систему, а жила только ее интересами.

– Мам, – сказала Наташа, – хочешь, я ребенка рожу?

– От кого?

– От меня.

– Идиотка! – сказала мать.

– Ну что ты ругаешься, я же только спрашиваю.

Зазвонил будильник, отпирая новый день.

Училище размещалось в старом особняке. Раньше в этом особняке жил обедневший дворянин. Комнаты были тесные, лестница косая. Наташа любила эти комнаты и лестницу, коричневую дверь с тугой и ржавой пружиной, тесноту и пестроту звуков.

В самой большой комнате, которую дворянин прежде называл «залой», а теперь все звали «залом», занимался хор.

Здесь все как обычно: та же декорация, сорок стульев, рояль. Те же персонажи – сорок студентов, концертмейстер Петя. Концертмейстер – профессия не видная. Например, по радио объявляют: «Исполняет Лемешев, аккомпанирует Берта Козель». Лемешева знают все, а Берту Козель не знает никто, хотя объявляют их вместе.

В консерватории Петя учился тремя курсами старше, его звали «членистоногий». Было впечатление, что у Пети на каждой руке по два локтя и на каждой ноге по два колена и что он весь может сложиться, как складной метр. Сразу после звонка отворяется дверь и появляется следующее действующее лицо – декан Клавдия Ивановна, за глаза – «та штучка». Она окончила университет, к музыке никакого отношения не имеет, не может отличить басового ключа от скрипичного. Осуществляет общее руководство.

Принцип ее руководства состоит в том, что раз или два раза в год она выгоняет какого-нибудь отстающего и неуспевающего. Раз или два раза в год под косой лестницей бьется обалдевшая от рыданий жертва, а вокруг тесным кольцом в скорбном и напряженном молчании стоят друзья-однокурсники, и каждый предчувствует на этом месте себя.

Сейчас «та штучка» вошла и села возле дверей на свободный стул. Студенты и студентки выпрямили позвоночники, как солдаты на смотре.

Наташа не обернулась. Пусть декан беспокоится, и царственно откидывает голову, и изобретает принципы. А она – дирижер. Ей нужны только руки, чтобы было чем махать, и хор, чтобы было кому махать. И хорошая песня – больше ничего. А посторонние в зале не мешают. К посторонним, равно как и к публике, дирижер стоит спиной.

– «Эх, уж как пал туман», – сказала Наташа и движением руки подняла хор.

Она внимательно смотрит на первые сопрано, потом на вторые. Идет от одного лица к другому. Это называется – собрать внимание. Но Наташа ничьего внимания не собирает. Слушает сосредоточенно: ждет, когда задрожит в груди поющая точка. Потом эта точка вспыхивает и заливает все, что есть за ребрами, – сердце и легкие. И когда сердце сокращается, то вместе с кровью посылает по телу вдохновение. Наташа до самых кончиков пальцев наполняется им, и становится безразличным все, что не имеет отношения к песне.

Наташа качнула в воздухе кистью, давая дыхание. Петя поставил первый аккорд. Сопрано послушали и вдохнули, широко и светло запели:

Эх, уж как пал туман на поле чистое-э...

Она потянула звук, выкинув вперед руку, будто держа что-то тяжелое в развернутой ладони. Потом обернулась к альтам.

...Да позакрывает туман дороги дальние... —

влились альты. Они влились точно и роскошно, именно так они должны были вступить. Наташа каждой клеточкой чувствовала многоголосие. Ничего не надо было поправлять.

Она опустила руки, не вмешиваясь, не управляя, давая возможность послушать самих себя. Все пели и смотрели на Наташу. Лицо ее было приподнято и прекрасно, и это выражение ложилось на лица всех, кто пел.

*...Эх, я куда-куда-а пойду,
Где дорожку я широкую-у найду-у, где...*

В следующую фразу должны вступить басы и вступить на «фа». Это «фа» было в другой тональности и шло неподготовленным. Если басы не попадут – песня ломается.

Наташа оглядывается на Петю, на мгновение видит и как-то очень остро запоминает его резкое, стремительное выражение лица и сильные глаза.

Петя чуть громче, чем надо, дает октаву в басах, чтобы басы послушали «фа» и почувствовали его в себе.

Наташа сбросила звук. Хор замер и перестал дышать. Она делала все, что хотела, и хор выполнял все, что она приказывала: могли бы задохнуться и умереть. Она держала сорок разных людей на кончиках вздрагивающих пальцев, и в этот момент становилась понятна ее власть над людьми.

В последнюю четверть секунды качнула локтями, давая дыхание, и все вздохнули полной грудью. Басы точно встали на «фа», отдали его в общий аккорд – самый низкий, самый неслышный, но самый определяющий тон.

...Где доро-ожку най-ду-у...

В конце все собираются в унисон, подтягивают, выравнивают последний звук до тех пор, пока не создается впечатление, будто он рожден одним только человеком. Наташа подняла два пальца, как для благословения, и слушает, и впечатление, будто забыла – зачем стоит. Потом медленным жестом подвигает палец к губам. Звук тает, тает... сейчас совсем рассеется, осядет на потолок и на подоконник. Но Наташины пальцы ждут, и губы ждут, и глаза – попробуй послушаться. И все подаются вперед и держат, держат звук до тех пор, пока это не становится невозможным. Тогда Наташа едва заметным движением зачеркивает что-то в воздухе и опускает руку.

Песня кончилась. Проходит некоторое время, прежде чем всем становится это ясно.

Урок окончился, и все разошлись. Петя засовывал в портфель ноты. Ноты не умещались.

Наташа подошла к окну и распахнула его настежь. На улице снег поблескивал, как нафталин. Он лежал на крышах совсем белый и был по тону светлее, чем небо.

Хорошо было стоять и немножко мерзнуть и возвращаться откуда-то издалека. Смотреть на снег, черные на белом фигурки людей, ощущать бесконечность.

Далеко-далеко висит звезда, а под ней висит Земля, а на Земле бывший особняк обедневшего дворянина. А на втором этаже, в трех метрах над людьми, стоит Наташа.

Песня получилась, значит, полгода прошли даром и сегодняшний день не пропал. А впереди следующая песня, которая будет лучше этой, а за ней другая. И это – ее! Здесь она ни от кого не зависит. Никто не может ни вмешаться, ни помешать.

«Проживу! – подумала Наташа. – Ничего, проживу!»

По улице быстро прошли два подростка. Они шли, одинаково сунув руки в карманы.

А Петя за спиной все никак не мог уложить ноты, наступал на портфель коленкой.

Наташа подошла, отобрала портфель и разложила: партитуры вдоль, а сборники – поперек. Потом легко закрыла портфель и протянула Пете. Петя озадаченно посмотрел на портфель, потом на Наташу. Он смотрел долго и вдруг удивился:

– Слушай, а у тебя потрясающие волосы. Ты это знаешь?

– Конечно, – сказала Наташа. – Ко мне просто надо привыкнуть...

Будет другое лето

Вечером мне позвонила из Ленинграда Майка и спросила:

– Ты на свадьбу ко мне приедешь?

– У меня разлад мечты с действительностью, – сказала я.

– Что?!

– Я хотела бы подарить тебе шубу, а могу только зубную щетку.

– Привези щетку, у моей как раз отломилась ручка.

Я представила себе, как приеду в Ленинград, как мне удивятся и обрадуются.

– Если тебя не будет... – У Майки ослаб голос.

– Не реви, – посоветовала я. – У тебя только три минуты.

– А приедешь?

– Приеду.

Утром я провожаю своего брата Борьку на работу. Сижу, подпершись ладошкой, гляжу, как он ест и пьет.

Глаза у Борьки синие, как у мамы, выразительные. Они могут выражать все, что угодно, но Борька этим преимуществом не пользуется и ничего своими глазами не выражает. Ест сырок, помахивая вилкой.

Мой брат – раб своего организма. Когда он хочет есть или спать, ему не до духовных ценностей.

– Вкусно? – спрашиваю я.

– Резина, – говорит Борька и принимается за другой сырок.

Уходя, он пересчитывает мелочь.

– Тебе оставить?

– У меня есть.

– Я оставлю двадцать копеек, – великодушно решает Борька и уходит, щелкнув замком.

Итак, у меня двадцать копеек. На них я должна пообедать, съездить в редакцию, купить Майке подарок и взять билет на Ленинград.

Раньше, когда была жива мама, она беспокоилась о Борьке, потому что он рос слабый и болезненный. Сейчас о нем беспокоюсь я, и Борька не представляет, что можно беспокоиться еще о ком-нибудь, кроме него.

Я сижу и думаю, где достать денег: во-первых, у кого они есть; во-вторых, кто их даст. Можно взять у Татьяны, соседки справа. У нее есть, и она даст, но на это уйдет два часа.

Татьяна – борец за правду. Она все время решает со мной общечеловеческие вопросы, при этом крепко держит за рукав, чтобы я не убежала.

Поначалу ее интересовало – отчего врачи, несмотря на ответственную работу, получают маленькую зарплату. Сейчас, когда зарплату врачам повысили, мою соседку заинтересовал вопрос о человеческой неблагодарности: почему люди часто не помнят хорошего и на добро отвечают злом?

Я каждый раз не знаю, почему это происходит, и каждый раз коченею от тоски.

Я иду за деньгами к Игорю – соседу напротив. Игорь закончил станкостроительный институт и работает в журнале «Крокодил», помещает в нем карикатуры и изошутки.

Когда была кампания против взяточничества, Игорь рисовал краснорожего взяточника. Когда стоял вопрос, чтобы не скармливали хлеб свиньям, он рисовал краснорожего мужика, который сыплет свиньям крендели и булки.

– Привет! – весело говорю я.

Игорь поднимает встревоженные глаза.

- Сколько тебе?
- Тридцать рублей.
- И все?
- Все.

Игорь радостно подхватывается, приносит мне деньги. Видно, боялся, что попрошу тысячу.

- Ты думал, я больше попрошу?
- Кто тебя знает. – Игорь снова усаживается за стол. – С твоим-то размахом.

Все думают обо мне, будто я живу с размахом. У меня в руках две бумажки, двадцать пять рублей и пять. Теперь я реально чувствую, что уеду сегодня в Ленинград.

- Ну как? – спрашиваю...

Игорь пожимает плечами и бровями.

Ему понятно, о чем я спрашиваю, а мне понятно, что он отвечает: уже два года он собирается жениться и все прикидывает, что он от этого потеряет, а что приобретет.

- Брось, – говорю я, – не рассчитывай. Все равно всего не учтешь.

Возвращаюсь в свою комнату. С порога слышу телефонный звонок. Бегу, опрокидывая стулья. Сдергиваю трубку.

- Да!
- С вами говорит Дин Рид.
- Что тебе надо? – Я вдруг чувствую усталость, сажусь на стул.
- Выходи за меня замуж!

Я уже поняла, что звонит не Дин Рид, а Сашка Климов, и поняла, что американский певец сейчас в Москве на гастролях.

Сашка держит меня в курсе всех событий: когда было перешито сердце, Сашка тут же позвонил, представился Кристианом Барнардом и спросил – не хочу ли я за него замуж?

Сашка влюблен в меня. Об этом известно всему курсу. И мне известно. Прежде мне это нравилось, сейчас раздражает.

- Сашка, – говорю, – зайди в деканат, скажи, что меня неделю не будет.
- А где ты будешь неделю?
- Я уезжаю в Ленинград на свадьбу.
- Неуважительная причина, – замечает Сашка. Он ведет на курсе профсоюзную работу, знает законы.

- Тогда скажи – на похороны.
- На чьи?

Я перетряхиваю в голове всех родственников. К родственникам я не привязана, но смерти им не желаю.

- Почему свадьба – не причина? – торгуюсь я.
- Ведь свадьба не твоя.
- Похороны тоже не мои.

Странное дело: чем бы ни начинался наш с Сашкой разговор, кончается обязательно тем, что мы ссоримся.

- При чем тут я? – раздражается Сашка. – Не я ведь придумываю порядки...

Я бросаю трубку. Сашка действительно ни при чем, и порядки ни при чем. Просто я жду, что позвонит другой человек, а он не звонит.

Я иду в парикмахерскую. Хочу сделать прическу, чтобы нравиться.

В парикмахерской очередь. Все хотят нравиться. Все ждут мастера Зою. Мне безразлично, у кого причесываться, я потом все равно переделаю по-своему.

Я сижу в кресле перед высоким зеркалом, вижу в нем себя и парикмахершу. Парикмахерша тоже смотрит в зеркало, видит в нем только себя. По выражению ее лица ясно – она очень довольна тем, что видит. Бигуди кладет редко и неровно, но я стесняюсь сказать об этом. Я понимаю, что посажена в кресло из милости и вообще по сравнению с парикмахершей ничего не стою.

– Сушиться сорок минут, – предупреждает парикмахерша. Я понимаю, что на эти сорок минут у нее планы и чтобы я не вздумала соваться со своими.

Под феном душно, но я не обращаю внимания. Я сочиняю стихи. Это мое основное занятие в жизни. В перерыве между стихами я учусь в институте. Как говорит Борька – учусь на врача. Я вообще люблю участвовать в жизни других людей: сватать, советовать, лечить. Лечить мне пока не приходилось, а сватать и советовать – довольно часто. Пока от этого у меня одни неприятности.

Помогать людям – своеобразный эгоизм. Я не знаю, кому это больше нужно – людям или мне. Наверное, обеим сторонам.

Сочинять стихи, навязывать свое «я» – тоже своеобразный эгоизм. Но здесь это нужно только мне. Людям это безразлично. Они даже не знают об этом.

Качества своих стихов я пока не уяснила. В редакциях говорят «хорошие», но печатать не берут. Наверное, боятся, что не сумеют поддерживать журнал на уровне моих стихов.

Через сорок минут я возвращаюсь в кресло.

– Вам с начесом? – строго спрашивает парикмахерша.

– Так и так... – осмелев, я делаю вокруг головы несколько жестов.

– Я так не знаю, – одергивает меня парикмахерша.

– Делайте, как знаете.

Парикмахерша делает, как знает. Я бормочу благодарные слова и, оставив чаевые, иду в гардероб. Там достаю расческу и начинаю раздирать дремучий начес.

Очередь смотрит с интересом. Предусмотрительная очередь ждет Зою, у которой обеденный перерыв.

Зоя беседует с кассиршей, при этом ест калорийную булочку, запивая молоком из бутылки. На ее месте я поставила бы на столик бутылку, положила булочку и со всех ног бросилась на «Мосфильм» сниматься в главной роли. Никогда не видела таких редко и красиво девушек. Зоя поставила на столик бутылку, положила булочку и подошла ко мне. Вытащив из кармана металлическую расческу, стала укладывать мои волосы сзади и сбоку. Я смотрела в зеркало на нее, она – на мои волосы. Они лежали небрежно и точно как на портретах из польского журнала «Экран».

– Спасибо, – сказала я.

– Пожалуйста, – ответила Зоя и спрятала расческу.

Иду по коридору редакции, читаю таблички на дверях: «Главный редактор». Это не то, вернее, то, но он меня не звал. «Литературный консультант Трофимов С. А.». Этот меня звал.

Я открываю дверь, но Трофимова не вижу, а вижу двух мальчишек, которые сидят на диване и беседуют. Один из них бородат, другой в женской кофте крупной вязки. Молодые дарования.

– Проходите, – приглашают дарования, – садитесь. Трофимов сейчас придет.

Я прохожу и сажусь, но не на диван, а на стул. Отвернувшись, гляжу в окно, вижу в стекле контуры своей головы и плеч.

Вошел Трофимов, стал беседовать с мальчишками, а я вытащила из портфеля «Правду», стала читать заголовки. Я читала заголовки, чтобы куда-нибудь деть глаза.

Мальчишки ушли. Трофимов стал смотреть на меня, потом сказал с каким-то даже ужасом:

– Как вы талантливы...

Это было подозрительно хорошее начало. Я опустила глаза, ждала, когда он скажет: «Хорошо, но мы не напечатаем».

– Очень интересно, – сказал Трофимов, – но мы не можем напечатать...

Больше ждать было нечего.

– Почему? – Я посмотрела ему в лицо. Увидела длинное расстояние от носа до верхней губы. Удобно бриться.

– Маленькие проблемы.

– Маленькие – это тоже большие.

Трофимов развел руками.

– Непонятно, где живет ваш герой.

– Мой герой влюблен, – сказала я, – а влюбленные везде примерно одинаковые.

Трофимов щелкнул языком, как Мastroяни в фильме «Развод по-итальянски», и стал смотреть в окно.

В литературных консультациях почему-то никогда не работают настоящие поэты. Наверное, потому, что им некогда.

Из редакции я еду на Ленинградский вокзал. Сейчас куплю билет и ночью уеду в Ленинград.

У каждого живущего на земле есть такое место, где ему всего уютнее. Мое место – Ленинград.

Здесь я родилась. На Васильевском острове мой дом, из которого я каждое утро, опаздывая, выбегала в школу. Мама высовывалась в форточку и кричала вслед: «Не беги!» – боялась, что я вспотею и простужусь. А когда я возвращалась обратно, мама звала: «Иди скорее!» – боялась, простынет обед. Мама всегда чего-то боялась.

В Ленинграде живет моя подружка Майка. Дружба у нас чисто женская. Самым большим праздником в Майкиной жизни были те дни, когда я получала двойку. А так как Майка училась хуже, то у меня таких праздников было больше.

В Ленинграде я пережила свою первую любовь. Мне было 12 лет, а ему 13. Его звали во дворе Пони за маленькое туловище и большую голову.

Может быть, существуют более яркая первая любовь и более искренняя первая дружба, но других первых у меня не было. Все, что было потом, – второе.

Я люблю Медного всадника и решетку Летнего, куда приводят туристов. Люблю обшарпанную Выборгскую сторону. Мне нравится просто бродить по улицам, я узнаю их и не узнаю. От этого мне грустно и хочется жить лучше, ярче, чем я живу сейчас.

Я иду к вокзалу и улыбаюсь. Представляю, как вбегу в темный, пахнувший кошками Майкин подъезд. Как мне откроют дверь, шумно удивятся и шумно обрадуются. Как будут кормить меня, поить и смотреть с восхищением. А я в этих взглядах почувствую себя легко и блаженно, будто в теплой ванне. Захмелевшая, буду рассказывать о себе в Москве: как живу на Борькину зарплату, как меня не печатают, как схожу с ума по женатому человеку. А все будут слушать, смеяться и завидовать. Им тоже вдруг захочется есть плавленые сырки, захочется бесперспективной любви.

Я подхожу к вокзалу и улыбаюсь.

Неожиданно, как из карточной колоды, передо мной возникает цыганка – темнолицая, с плохими зубами. Не Кармен.

– Зачем спешишь, красавица? У тебя не будет дальняя дорога...

– Почему? – Я с удивлением смотрю в ее круглые глаза с черными точечками у зрачков.

Цыганка быстро отводит меня к вокзальной стене, начинает торопливо говорить насчет того, что я простая и нехитрая – от этого у меня все неприятности. Я слушаю, морщась от напряжения, не могу разобрать половины слов. Говорит она без пауз и без интонаций, с каким-то неясным акцентом, и такое впечатление, что сама не понимает, о чем говорит.

– Что, что? – переспрашиваю я.

– У тебя деньги есть? – отдельно интересуется цыганка, хотя перед этим говорила явно другой текст.

Я достаю из кармана мелочь.

– Не жалко?

Я на минуту задумываюсь, потом трясую головой. Не жалко.

Какие могут быть разговоры, если за несколько медяков получу профессиональную информацию: что у меня было, что будет, чем сердце успокоится.

Цыганка начинает что-то бормотать. Я жду. Вижу еще нескольких представительниц вольнолюбивого племени, худых от подвижного образа жизни. Бродят в платках и длинных юбках, ищут другую такую дуру, как я.

Воспользовавшись моей задумчивостью, цыганка дергает меня за челку, выдирает оттуда несколько волосков, начинает дуть на них. Потом спрашивает:

– Кого тебе показать, врага или короля?

Я думаю: враги у меня несерьезные, а короля хорошо бы знать в лицо, чтобы не пропустить при встрече. Не принять за кого-нибудь попроще.

– Короля!

Цыганка делает внезапный мистический жест, и я вижу в ее сухой руке маленькое зеркальце, какое продают обычно в «Галантерее» за 30 копеек. Это зеркальце на уровне моего лица, я заглядываю туда и вижу свой нос, рот и угол щеки.

Короля я там не увидела. Собралась было удивиться вслух, но у цыганки была своя программа.

– У тебя бумажные деньги есть?

У меня лежала в сумке сиреневая 25-рублевая бумажка, но мне почему-то не хотелось извещать об этом свою собеседницу.

Цыганка заметила следы борьбы на моем лице. Поняла меня верно.

– Ты мне не веришь?

– У меня нет денег, – нерешительно сказала я.

– Ты что, не веришь? – Цыганка широко раскрыла очи черные, очи жгучие.

Мне стало неудобно, я достала деньги и, чувствуя, как во мне все сопротивляется этому жесту, протянула их цыганке. Она взяла хрустнувшую бумажку, я все еще не выпускала ее из рук. Мы некоторое время стояли так – она тянула к себе, я к себе. Что чувствовала при этом цыганка, я не знаю. Во мне шла борьба темного со светлым, подозрительности с верой в человечество. Светлое начало победило. Я разжала пальцы, и деньги исчезли в темном кулачке. Цыганка зачем-то стала мять новенькую бумажку. Мяла-мяла, она становилась все скомканнее и меньше. Я больше не глядела по сторонам и ни о чем постороннем не думала. Я не сводила глаз с этого кулачка.

Цыганка тем временем перестала двигать пальцами, разжала кулак и показала мне пустую ладонь. Она показала мне фокус.

Боясь поверить, я спросила:

– А где деньги?

– Улетели.

– Куда?

– Туда, – цыганка показала куда-то вверх.

Я посмотрела в этом направлении, но денег не увидела, а увидела большие, светящиеся неоновыми буквами «Ленинградский вокзал».

– Послушайте, – тихо сказала я, – отдайте мне их обратно. Пожалуйста. Я вас очень прошу.

При слове «очень» мои глаза наполнились непролившимися слезами, руки я стиснула перед грудью и в этот момент походила со стороны на камерную певицу.

Цыганка вдруг сказала мне грубое слово. Это было неожиданно, но не удивило меня. Меня удивило то, как переменялись ее глаза. Я никогда не представляла себе, что на человеческом лице могут быть такие глаза.

К моей цыганке стали подходить остальные, хотя с меня было вполне достаточно одной. Я повернулась и пошла от вокзальной стены. Иногда останавливалась, мотала головой, как лошадь. И все люди, идущие навстречу, казались цыганами.

Раньше, прошлый год, когда мне везло или не везло, я шла к нему домой, на Смоленскую. И сейчас я иду к нему, но не на Смоленскую, как раньше, а на Таганку. Там его мастерская.

Я звоню в дверь и пугаюсь, что его нет. Но он есть.

Он отпирает и смотрит на меня.

– Поздоровайся со мной, – говорю.

Он молчит. Лицо такое, будто слушает музыку – «Лунную сонату».

Прохожу мимо него в прихожую, оттуда в комнату.

На полу разложены рисунки – один к другому. То ли он сушит их подобным образом, а может, ему удобнее с высоты двухметрового своего роста глядеть на дело рук своих.

Останавливаюсь перед рисунками, ничего не вижу, кроме черно-белых пятен.

– Я пришла взять очки, – говорю, глядя в пол.

Месяц назад я забыла у него очки от солнца. Сейчас осень, очки не нужны. Он это понимает. Я знаю, что он это понимает.

Мы молчим. Он смотрит на меня. Я – в пол.

Вдруг из черно-белых пятен различаю среди заснеженных деревьев спину мальчика. Мальчик идет в школу: в одной руке несет портфель, в другой – мешочек для галош. По тому, как отведен портфель, как натянута веревочка, по линии плеч вижу, что мальчику не хочется идти в школу.

– Нравится?

– Непонятно, – говорю, – в какой стране живет твой мальчик.

– Мальчики во всех странах одинаково не хотят ходить в школу.

Не надо мне было на него смотреть.

– Принеси очки.

Он отделяется от стены, подходит ко мне. Обнимает.

Моя щека помнит его щеку. Рука – его плечо. Будто когда-то уже было так же, тысячу лет назад. При первом моем рождении. Была эта же комната. Стояла такая же напряженная густая тишина. Он целует меня. И это я тоже помню. Отвожу лицо.

– Не надо.

– Почему?

– Не надо.

Это я из самолюбия. Кому оно нужно сейчас, мое самолюбие...

– Ты извини, что я не звонил.

Зачем извиняться? Не звонил и не звонил.

Я вижу его ухо и край щеки, тлеющий румянцем. В линии затылка и спины есть что-то невзрослое. Молчит, мотает на указательный палец короткую нитку. Потом перестает мотать, смотрит через глаза прямо мне в душу.

– Неужели ты не понимаешь?

Я все понимаю. На Смоленской, в двадцати минутах езды на метро, живет маленький незнакомый мальчик. Его сын.

– Я все понимаю. Ты хочешь, чтобы были и волки сыты и овцы целы.

Он встает, отходит к окну. Кажется, я добилась своего – ему неприятно. Но мне не легче. Мне от этого еще хуже.

На окно налипли сумерки. В комнате темно. От зажженного за окном фонаря на полу косая зыбкая тень рамы. И мне кажется – это наш дом. Встретились вечером, каждый после своих дел, и не надо расставаться. Ни сегодня, ни завтра. Никогда.

Я осознаю вдруг, что если сейчас зажечь свет – исчезнет тень на полу. Обозначатся голые стены. Дом не мой. Он не мой. Ощущение сиюминутности.

Я не хочу зажигать свет. Хочу, чтобы все осталось так, как сейчас. Говорю:

– Зажги свет.

– Не надо, – просит он. – Так лучше.

– Поздно. Отвези меня домой.

Хоть бы не послушал.

Наша машина идет среди других машин и внешне ничем от них не отличается.

Он курит молча. Лицо отчужденное – такое впечатление, будто мы поссорились.

Я смотрю на его профиль, на рукав пальто. Мне кажется, что едем мы в последний раз и видимся в последний раз. Я мысленно ласкаю его, говорю самые нежные и нужные слова, каких я ему никогда не говорила раньше, а теперь и подавно не скажу.

Он переключает скорость. Я боюсь скоростей, но сейчас мне хочется, чтобы он ехал еще быстрее, хочется врезаться во что-нибудь, чтобы больше не думать. Спрашиваю:

– Ты на похороны мои придешь?

– Если будет время, – говорит он и выкидывает папиросу через опущенное стекло.

Машина останавливается против моего дома. Мне хотелось бы ехать долго, но мы уже приехали.

– Ты так ничего и не поняла, – говорит он.

– До свидания. – Я дергаю ручку и выхожу из машины.

Есть такое выражение: через силу. Это, наверное, когда сила тянет в одну сторону, а ты идешь в другую.

Я вхожу в комнату. Не раздеваясь, в плаще и косынке, сажусь на тахту.

Борька опускает газету, глядит на меня.

– Ты чего?

– Ничего.

Как неэкономно устроена жизнь. Даже старые, изношенные платья не выбрасывают, а рвут на тряпки и используют в хозяйстве. А такая редкость, как любовь, если она не нужна тому, на кого направлена, то она вообще никому не нужна. Никому не нужны моя любовь, талант и преданность.

– Перестань курить. Мне душно.

– А куда я пойду курить? – Борька несколько раз сильно затягивается, потом винтообразным движением тушит папиросу в пепельнице. Вокруг него зыбким голубым туманом плывет дым.

– Открой окно, – прошу я.

– Мне будет холодно спине.

– Эгоист! – Я чувствую, как от слез тяжело и неудобно глазам. – Ну почему вы все такие эгоисты?

– Это ты меня на «вы» называешь? – уточняет Борька.

В этот момент на кухне раздается грохот, будто выстрелили из ружья. Исходя из прошлого опыта, догадываюсь, что это с плиты свалилась сковорода. Она свалилась на бутылки из-под кефира, которые стоят возле плиты.

– Знаешь что, ты или бутылки убирай, или сковороду клади в другое место. Обратнo у тебя все летит.

Борька любит слово «обратнo»: у меня «обратнo порвались носки» или «ты обратнo все делаешь наоборот».

Ночью я еду в Ленинград. Деньги мне дала Татьяна, причем довольно быстро, не выясняя смысла жизни.

– Спасибо, – сказала я.

– Пожалуйста, – ответила Татьяна.

Так и бывает в жизни, когда человек выручает человека. «Спасибо», – говорит один. «Пожалуйста», – отвечает другой.

Я еду в свой город на чужую свадьбу, везу в подарок дымчатые очки, каких не достанешь. Сейчас, правда, осень, очки не нужны. Но ведь будет другое лето.

Инструктор по плаванию

Я лежу на диване и читаю учебник физики.

«Когда в катушке тока нет, кусок железа неподвижен...» Это похоже на стихи:

*Когда в катушке тока нет,
Кусок железа неподвижен...*

Ни катушка, ни кусок железа меня не интересуют совершенно. Я изучаю физику для двух людей: для мамы и для Петрова.

Петрова недавно видели с красивой блондинкой. Я понимаю, что обижаться – мешанство и чистейший эгоизм. Если любишь человека, надо жить его интересами. «Если две параллельные прямые порознь параллельны третьей, то они параллельны между собой». Значит, если я люблю Петрова и блондинка любит Петрова, то я и блондинка должны любить друг друга.

В комнату вошла моя мама и сказала:

– Если ты сию минуту не встанешь и не пойдешь за солью, я тебе всю морду разобью!

Надо заметить, что моя мама преподаватель зарубежной литературы в высшем учебном заведении. У нее совершенно отсутствует чувство юмора. Пианино она называет музыкальным инструментом, комнату – жилой площадью, а мое лицо – мордой.

Юмор – это явление социальное. Он восстанавливает то, что разрушает пафос. В нашей жизни, даже в моем поколении, было много пафоса. Зато теперь, естественно, много юмора.

– Ну объясни, – просит мама, – что вы за люди? Что это за поколение такое?

Мама умеет за личным видеть общественное, а за частным – общее.

– При чем тут поколение? – заступаюсь я. – Я уверена, стоит тебе только намекнуть, как все поколение тут же ринется за солью, и только я останусь в стороне от этого общего движения.

Мама привычным жестом берет с полки первый том Диккенса и не целясь кидает в мою сторону. Я втягиваю голову в плечи, часто мигаю, но делаю вид, что ничего не произошло.

Я понимаю – дело не в поколении, а в том, что неделю назад я провалилась в педагогический институт и теперь мне надо идти куда-то на производство. Я вообще могу остаться без высшего образования и не принести обществу никакой пользы.

У меня на этот счет есть своя точка зрения: я уверена, например, что моя мама принесла бы больше пользы, если бы работала поваром в заводской столовой, кормила голодных мужчин. Она превосходно готовит, помногу кладет и красиво располагает еду на тарелке. Вместо этого мама пропагандирует зарубежную литературу, в которой ничего не понимает. «Диккенс богат оттенками и органически переплетающимися противоречивыми тенденциями. Понять его до конца можно, лишь поняв его обусловленность противоречивым мироощущением художника».

Не знаю – можно ли понять до конца писателя Диккенса, но понять на слух лекции мамы невозможно. Не представляю, как выходят из этого положения студенты.

Эту точку зрения, так же как и ряд других, я держу при себе до тех пор, пока мама не кидает в меня щеткой для волос. После чего беседа налаживается.

– Ну что ты дерешься? – обижаюсь я. – Каждый должен делать то, что у него получается. Я намекаю на мамину деятельность, но она намеков не понимает.

– А что у тебя получается? Что ты хочешь?

– Откуда я знаю? Я себя еще не нашла.

Это обстоятельство пугает маму больше всего на свете. Если я не нашла себя в первые восемнадцать лет, то неизвестно, найду ли себя к следующим вступительным экзаменам.

– Ты посмотри на Леру, – советует мама.

Лера поступила во ВГИК на киноведческий факультет. Кто-то будет делать кино, а она в нем ведать.

– А ты посмотри на Соню, – предлагаю я свою кандидатуру. – По два года сидела в каждом классе, а сейчас вышла замуж за капиталиста. В Индии живет.

– В Индии нищета и инфекционные заболевания, – компетентно заявляет мама.

– Вокруг Сони нищета, а ее индус дом имеет и три машины.

– Тебе это нравится?

– Нищета не нравится, а три машины – хорошо.

– А что она будет делать со своим индусом? – наивно интересуется мама.

– То, что делают муж и жена.

– Муж и жена разговаривают. А о чем можно говорить с человеком, который не понимает по-русски?

– Она его научит.

– Можно научить разговаривать, а научить понимать – нельзя.

– Ты же со мной разговариваешь, а меня совершенно не понимаешь. Какая в этом случае разница – жить с тобой или с индусом?

– Таня, если ты будешь так отвечать, – серьезно предупреждает мама, – я тебе всю морду разобью.

– А что, я не имею права слова сказать?

– Не имеешь. Ты вообще ни на что не имеешь никакого права. Потому что ты никто, ничто и звать никак. Когда мне было столько, сколько тебе сейчас, я жила в общежитии, ела в день тарелку пустого супа и ходила зимой в лыжном костюме. А ты... Посмотри, как ты живешь!

Мама думает, что трудности – это голод и холод. Голод и холод – неудобства. А трудности – это совсем другое.

Я никто, ничто и звать никак. Разве это не трудность?

У Петрова – блондинка. А это не трудность?

Мне иногда кажется, что мама никогда не была молодой, никогда не было войны, о которой она рассказывала, никогда не жил Чарльз Диккенс – все началось с того часа, когда я появилась на свет. В философии это называется «мир в себе».

– У нас были общие радости и общие трудности, – продолжает мама свою мысль.

– Тогда были общие, – говорю я, – а сейчас у каждого свои.

Мама стремительно смотрит вокруг себя, задерживается глазами на керамической пепельнице. Так спорить невозможно. Я предупреждаю об этом вслух, но мама с моим заявлением не считается. И через пять минут в комнате соседей покачивается люстра и нежно звенит в серванте хрусталь.

А еще через пять минут я стою, но уже не в комнате, а на улице, посреди двора.

Никто в этой жизни не любит меня больше, чем мать, и никто не умеет сильнее обидеть. В философии это называется «единство и борьба противоположностей».

Подруга Лера сказала бы по этому поводу так:

«Надо уметь отделять рациональное от эмоционального. Родители на то и созданы, чтобы воспитывать, а дети для того и существуют, чтобы создавать поводы для забот. Каждое поколение испытывает на себе любовь родителей и неблагодарность детей. Что же касается индуса, то тут особенно важно отделить рациональное от эмоционального. Ни в коем случае нельзя ориентироваться на страсть, надо учитывать перспективы отношений, брать мужа на вырост».

Петров – муж на вырост. Через десять лет он станет молодым профессором, а я женой молодого профессора. Я буду приносить пользу мужу, а он всему обществу – за меня и за себя. Жаль, что Петров женится не на мне, а на блондинке. Хотя их отношения с блондинкой ни на

чем не стоят, а у нас с Петровым общее прошлое: мы вместе рыли картошку в колхозе. Может быть, когда-нибудь он вспомнит об этом и позвонит мне по телефону.

Петров очень остроумный человек. Он весь состоит из формул и юмора. Юмор, конечно, восстанавливает то, что разрушает пафос, но когда его очень много – он сам начинает разрушать. Так же, как ангина разрушает сердце. От частых ангин бывает недостаточность митрального клапана, с этим очень неудобно жить. А от хронического юмора образуется цинизм, с которым жить очень удобно, потому что человек все недооценивает. Всему назначает низкую цену.

У мамы мало юмора, она ко всему относится торжественно и все переоценивает. У Петрова много юмора, он ко всему относится снисходительно, все недооценивает. Лера все время отделяет рациональное от эмоционального. Всему знает точную цену. Она умеет и в жизни «руду дорогую отличить от породы пустой».

А я ничего не знаю и не умею. Потому что я себя не нашла. И меня никто не нашел.

Рядом с нашим домом продовольственный магазин, а возле магазина большая лужа. Зимой она замерзает, тогда дворничиха Нюра посыпает ее песком или крупной солью, чтобы люди не падали. Сейчас конец августа, начало дня, лужа стоит полная и белая от молока. Вчера в нее с грузовика свалился ящик с шестипроцентным молоком.

Возле лужи собираются кошки, они спокойно сидят, вытянув хвосты, а люди куда-то торопятся, и всем свое дело кажется самым важным.

У меня развито стадное чувство. Когда я вижу бегущих людей, я бегу вместе со всеми, даже если мне надо в противоположную сторону.

Однажды мы с Лерой собрались на ее дачу и приехали с этой целью на Савеловский вокзал. Лера пошла за билетами, а я осталась ждать на платформе. В это время со второго пути отправлялся поезд, который редко ходит и далеко везет. Вокруг меня все пришло в движение и устремилось ко второму пути. Люди бежали так, будто это был самый последний поезд в их жизни и вез их не в Дубну, а в долгую счастливую жизнь.

Я услышала в своей душе древний голос и бросилась бежать вместе со всеми, не различая в общем топоте своего собственного. Когда я вскочила в вагон, то испытала облегчение, доходящее до восторга. Потом, конечно, я испытала оторопь и растерянность, но это было уже потом, когда поезд тронулся.

Лера не понимает, как можно вскочить в ненужный тебе поезд. Она до сих пор не понимает, а я до сих пор не могу объяснить.

Я давно миновала свой двор и несколько улиц, когда увидела бегущих людей. Они пронеслись мимо меня, потом остановились – в передних рядах произошла кратковременная борьба. Потом все повернулись и бросились в другую сторону.

Я заглушила в себе древний голос, отошла и попробовала сосредоточиться. Со стороны, как правило, виднее, я все поняла: действие происходит перед театром, массы стреляют билет на утренний спектакль.

Я не люблю стрелять билеты. В этом есть что-то унижительное. Те, у кого заранее припасены билеты, чувствуют необоснованное превосходство и на вопрос, нет ли у него лишнего, могут ответить: «Есть. В баню». Каждому приятно почувствовать превосходство, пусть даже временное и необоснованное. Я это понимаю, но не принимаю. Поэтому просто отхожу в сторону, ни у кого ни о чем не спрашиваю, при этом у меня вид поправленной женственности. Такой вид часто бывает у хорошеньких продавщиц, которые собрались завоевывать мир, а попали за прилавок.

Сегодня я тоже отхожу в сторону и смотрю, как ведут себя возле театра. Если бы в кассе были свободные билеты, людям хотелось бы на спектакль гораздо меньше или не хотелось бы совсем.

Ко мне подошла блондинка в белом пальто и таинственно спросила:

– Можно вас на минуточку?

– Можно, – согласилась я и пошла за ней следом. Я не понимала, куда она меня ведет и с какой целью. Может быть, это была блондинка Петрова и ей совестно смотреть мне в лицо?

Блондинка тем временем остановилась и достала из лакированной сумочки билет – голубой, широкий и роскошный.

– Продаете? – догадалась я.

У меня в кармане было семь копеек – ровно на пачку соли.

– Отдаю, – поправила меня блондинка.

– Почему?

– Он мне даром достался.

– А почему мне, а не им? – Я кивнула в сторону дышащей толпы.

– Боюсь, – созналась блондинка. – Растерзают.

Я обрадовалась и не знала, как приличнее: скрыть радость или, наоборот, обнаружить.

– Вам правда не жалко?

– Правда. Я вечером посмотрю в лучшем составе.

– Тогда спасибо, – поблагодарила я, обнаруживая радость одними глазами, как собака.

Мы улыбнулись друг другу и разошлись довольные: я тем, что пойду в театр, а она тем, что не пойдет.

Есть зрители неблагодарные: им что ни покажи – все плохо. Я – благодарный зритель. Мне что ни покажи – все хорошо.

Мои реакции совпадают с реакцией зала, просто они ярче проявлены. Если в зале придумываются – я плачу, а если улыбаются – хохочу.

Мне все сегодня нравится безоговорочно: пьеса, которая ни про что, артисты, которые изо всех сил стараются играть не хуже основного состава. Может быть, у них в зале знакомые или родственники и они стараются для них.

Мой сосед справа похож на молодого Ива Монтана – тот современный тип внешности, о котором можно сказать: «уродливый красавец» или «красивый урод». Он не особенно удачно задуман природой, но точно и тщательно выполнен: точная форма головы, вытянутая шея, вытянутые пальцы, вытянутая спина. Все вытянуто ровно настолько, насколько положено, ни сантиметра лишнего. Хорошо бы он на мне женился.

Спектакль окончился традиционно. Зло было наказано, а справедливость восторжествовала.

Так должны заканчиваться все спектакли, все книги и все жизни. Необходимая традиционность.

Я не люблю выходить из театра, не люблю антрактов – вообще мне не нравится быть на людях. На людях хорошо себя чувствуют начинающие знаменитости – все на них оглядываются и подталкивают друг друга локтями. А когда ты идешь и тебя никто не замечает, появляется ощущение, что ты необязательна.

– Девушка, извините, пожалуйста...

Кто-то меня все-таки заметил. Я обернулась и увидела Ива Монтана. «Сейчас спросит, где Третьяковская галерея», – догадалась я.

– Где вы взяли ваш билет? – спросил Ив Монтан.

– Мне его подарили.

– Кто?

– Блондинка. – Я хотела добавить «красивая», но передумала.

– Она еще что-нибудь говорила?

– Да. Она сказала, что посмотрит спектакль в лучшем составе.

Что ж, может быть, блондинка не любит уродливых красавцев, а предпочитает красивых красавцев или уродливых уродов. Чистота стиля.

Мы вышли на улицу. Весь июль и первую половину августа шли дожди. А так как природа все уравнивает, то на вторую половину пришлось вся жара, причитающаяся лету. Было так душно, что плавился асфальт.

– А как отсюда добраться до Третьяковки? – поинтересовался Ив Монтан.

«Наконец-то дождалась», – с удовлетворением думала я.

– Вы приезжий?

Все, кто приезжает в Москву из других городов, сейчас же бегут в Большой театр или в Третьяковскую галерею, даже если это им совершенно неинтересно.

– Приезжий, – сознался Ив Монтан.

– Откуда?

Я думала, он скажет «из Парижа».

– Из Средней Азии, – сказал Ив Монтан.

– А зачем вам Третьяковка? Вы любите живопись?

– Нет. Я хожу смотреть туда одну картину, «Христос в пустыне».

– Крамской, – вспомнила я.

– Наверное. Там Христос сидит на камне, а я перед ним на диванчике. В такой же позе.

Посидим вместе час-другой, начинаем думать об одном и том же.

– О чем?

– Так. О себе, о других.

– А о ком вы думаете лучше – о себе или о других?

– Конечно, о себе. Вам в какую сторону?

– Мне все равно, – сказала я. Мне действительно было совершенно безразлично.

Мы смешались с толпой и пошли в непонятном для себя направлении. Может быть, у Ива Монтана тоже было развито стадное чувство.

– Нравится вам Москва?

Этот вопрос обязательно задают иностранцам, а иностранцы обязательно отвечают, что больше всего им понравились простые люди.

– Город – это прежде всего люди, – ответил Ив Монтан. Он держался как иностранец на Центральном телевидении. – Я люблю тех, кто меня любит. В Москве меня не любят. Поэтому мне больше нравится Киев.

– Мещанский город! – высокомерно сказала я.

В Киеве живет моя родственница – настоящая мещанка. Когда я приезжала к ней на каникулы – заставляла меня наряжаться на базар.

– Мещане в свое время умели жить медленно и внимательно, – сказал Ив Монтан. – Сейчас этого не умеют. Все торопятся. А зачем?

– Чтобы успеть на свой поезд. В долгую счастливую жизнь.

– Когда торопишься, быстро устаешь. А чтобы жить долго, надо совсем другое.

– Что же надо?

– Заниматься спортом. Плавать.

– И все? – разочарованно спросила я.

– Вам мало?

– Конечно. Кроме спорта, существуют наука, искусство, политика...

– Спорт – это и наука, и искусство, и политика. В борьбе побеждает сильнейший, в беге быстрее. Красиво дерутся, красиво бегут. Судят беспристрастные судьи. Выигранное соревнование – это мгновение плюс жизнь.

– А я физкультурную форму всегда забывала, – с сожалением вспомнила я.

– А чем вы занимаетесь? – спросил Ив Монтан.

– Ничем. Я себя не нашла.
– Зачем вам себя искать? Вы уже есть.
– Думаете, этого достаточно?
– Вполне достаточно: умная, молодая, красивая...
– Умная и молодая – правильно, – подтвердила я. – Но не красивая. У меня психология не та.

– Непонятно.
– У красивых одна психология, а у некрасивых другая, – объяснила я. – У меня та, которая у некрасивых.

– Что же это за психология?
– Как бы вам объяснить... Бывают зрители благодарные, а бывают неблагодарные. Для них и пьесу пишут, и декорации рисуют, и актеры стараются, а они сидят нога на ногу, будто так и должно быть. Все для них в этой жизни – и города для них поставлены, и моря налиты. Понимаете? А я совсем другой зритель. Вот луна на небе – я ей ужасно благодарна. Вы со мной разговариваете – я просто счастлива.

– Вам правда не скучно?

Ив Монтан почему-то задержался на этой мысли, хотя меня больше интересовала другая.

Мимо нас, таинственно ступая, прошагала кошка. Может быть, она направлялась к луже с шестипроцентным молоком. У каждого в этой жизни свой маршрут.

– А куда мы идем? – спросил Ив Монтан.

– Не знаю. – Я остановилась. – Я думала, вы знаете.

– Пойдемте ко мне, – пригласил Ив Монтан.

– Куда?

– Ко мне. – Он решил, что я не расслышала.

Прежде чем решать что-либо, мне надо было отделить рациональное от эмоционального и выяснить перспективы отношений.

– Вы надолго приехали?

– На десять дней. На семинар.

– А какая у вас специальность?

– Инструктор по плаванию.

– Что это значит – «инструктор»?

– Человек, который учит плавать.

– А какое у них будущее – у тех, кто учит плавать?

– Будущее в основном у тех, кто плышет.

Все сошлось. Нормальный человек – без будущего и без перспектив отношений. Я испытала облегчение, доходящее до восторга, – как тогда, когда прыгнула в ненужный поезд.

Ив Монтан жил в гостинице. Когда мы вошли в его номер, я испытала оторопь и некоторую растерянность, но было уже поздно, потому что поезд тронулся.

Номер был хорош тем, что в нем не было ничего лишнего: кровать, чтобы спать, стол, чтобы писать письма, графин со стаканом, чтобы пить воду. Книг, чтобы читать, не было. Пианино, чтобы играть, тоже не было. Проводи свое время как хочешь, лежи на кровати, пей кипяченую воду.

– Куда сесть? – спросила я, так как стул был заставлен коробками.

Ив Монтан кивнул на кровать. Я села прямо на покрывало, хотя мама воспитывала меня совершенно иначе.

Итак, я сижу на кровати в номере у мужчины. Это со мной впервые, но, видимо, все в жизни бывает первый раз. Если бы моя мама меня не била и не заставляла каждый день

искать смысл жизни, я сейчас сидела бы дома, читала про катушку и кусок железа или вязала крючком. Значит, во всем виновата мама, из-за нее я дошла до жизни такой.

Когда находишь виноватого, становится легче. Мне тоже стало легче, зато Ив Монтан чувствовал себя затруднительно. Когда приходят гости, их надо развлекать беседой и поить кофе. Кофе у него не было, подходящей темы тоже не было. На улице ему было как-то освобожденнее.

– Садитесь, – подсказала я.

Ив Монтан послушно сел возле меня на покрывало.

– Как вас зовут? – торопливо поинтересовалась я. Это было самое подходящее время для знакомства.

– Иван. – Он протянул руку ладонью вверх. Такой доверительный жест предлагают собаке – чтобы не укусила. Я недоверчиво, как незнакомая собака, заглянула в развернутую ладонь. Линия жизни была у него длинная – долго будет жить. А линия ума – короткая. Дурак. Возле большого пальца эти линии сходились в букву «М»: линия ума совпадала с линией жизни. Не такой уж, значит, дурак, кое-что понимает. Бугров под пальцами не было. Бугры – признак таланта. Иван Монтан имел ладонь плоскую, как пятка. От таланта был освобожден совершенно.

– Иван, – повторила я, – сокращенно Ив...

Мне следовало назвать свое имя и протянуть свою ладонь. На моей ладони читались признаки и ума, и таланта, но линии ума и жизни не соединялись в букву «М», а шли каждая сама по себе.

Это означало, что вообще-то я умная, но своим умом не пользуюсь, живу как идиотка. Сегодня это особенно проявлялось.

– А почему блондинка не пошла с вами в театр? – спросила я. Меня мучила эта тайна.

Ив Монтан не ответил. Он убрал свою ладонь, сунул ее в карман. Мы сидели на одной постели такие отчужденные, будто были мужем и женой и прожили вместе двадцать лет.

Он встал, подошел к письменному столу и, присев на корточки, выдвинул нижний ящик.

Я ожидала, что Иван Монтан достанет шахматы или книгу с картинками, но он достал маленькую бутылку ликера с изящной этикеткой. Когда он выдвигал, а потом задвигал ящик, там что-то тарахтело. От живого созерцания я перешла к абстрактному мышлению и догадалась, что тарахтят бутылки.

– Вы алкоголик? – поинтересовалась я.

– Нет. Пьяница.

– А какая разница?

Ив Монтан посмотрел на меня, и я поняла, что выступила как дилетант.

– Пьяница хочет – пьет, а не хочет – не пьет, – объяснил он. – А алкоголик хочет – пьет и не хочет – тоже пьет.

– Понятно. А зачем вы пьяница? Вам трезвому скучно?

– Просто я устаю к концу дня и снимаю напряжение. Черчилль, например, выпивал в день бутылку армянского коньяка.

Ив Монтан разлил ликер – мне в стакан, а себе в крышку от графина. В номере запахло кофе, потому что ликер был кофейный.

– А почему Черчилль пил коньяк, а не ликер? – удивилась я.

– Ему было чем закусьвать, – неопределенно объяснил Ив Монтан. Он сел возле меня и стал на меня смотреть. – Сколько тебе лет?

– Восемнадцать.

Он поднял свою бесталанную ладонь и погладил меня по волосам.

– Блестят, – проговорил он. – Почему они у тебя блестят?

– Чистые... – сказала я и замолчала.

Ив Монтан был неправ. Ликер не снимал напряжения. Наоборот. У меня возникло такое ощущение, будто я несусь в скоростном лифте, когда в печенках что-то обрывается и ухает вниз, а голова становится легкой и вот-вот отлетит. Вот-вот я потеряю свою голову с чистыми волосами.

Есть такая болезнь – клаустрофобия. Это боязнь замкнутых пространств. Такие люди, например, не могут ездить в лифте. Я ничего не знаю больше об этой болезни, но вдруг остро почувствовала симптомы клаустрофобии. Мне жутко стало от замкнутого пространства, в котором совершенно не оставалось больше воздуха – нечем было дышать до того, что даже говорить невозможно.

Я вскочила с постели, отбежала к окну. Ив Монтан смотрел на меня очень внимательно – может быть, решил, что я собралась выбраться с седьмого этажа.

– У тебя что-нибудь было? – спросил он.

– Было.

– Если не хочешь, можешь не рассказывать.

– Мы вместе учились, – начала я. Мне лучше было рассказывать. Лучше произносить текст, чем молчать. – А потом мы вместе копали картошку в колхозе. Нас послали туда всем классом, но работать не хотелось. А он копал с утра до вечера. Он говорил, что это для него принципиально. Раз приехали работать – надо работать, а не прятаться по углам.

– Ну а потом...

– А потом я тоже стала копать вместе с ним.

– И все?

– Все.

– Значит, ничего не было?

– Почему же? Производственная любовь...

– А чем она кончилась?

– Мы вернулись в Москву, он себе блондинку нашел.

– Обидно?

– Ну вот, обидно... Гордиться должна. Если любишь человека, надо жить его интересами. Ив Монтан выпил полкрышки, подвинулся поближе к стене, чтобы сидеть удобно было. Клаустрофобия моя кончилась, замкнутое пространство разомкнулось как-то само собой.

– А я не помню, какой я был в восемнадцать лет, – сказал Ив Монтан. Он как-то незаметно перестроился из красивого уроды в красивого красавца, нравился мне больше, чем в театре, и больше, чем Петров в колхозе. Удивительно, что блондинка не пошла с ним в театр.

– Хотите, я тоже стану блондинкой? – предложила я. – Два часа – и блондинка.

– Не хочу, – сказал Ив Монтан. – Зачем тебе быть как все?

В номере было тепло и отгорожено от внешнего мира. Мы сидели вместе – красивый красавец и индивидуальная брюнетка – не такая, как все.

Мне хотелось, чтобы так продолжалось долго, но Ив Монтан посмотрел на часы.

– Пошли! – скомандовал он.

– А можно еще посидеть?

– А что мы будем делать?

– Общаться... духовно, – уточнила я.

– Для духовного общения надо ходить в Третьяковскую галерею, а не в номер к одинокому мужчине.

– Тогда пойдемте в Третьяковскую галерею, – предложила я. Мне не хотелось домой. – Посмотрим на Христа. Подумаем о себе, о других...

Мы отправились смотреть Христа, но не в Третьяковскую галерею, а в церковь. Так было ближе.

Во дворе за оградой стояла белая «Волга», принадлежавшая, видимо, попу.

В церкви было много старух, а обладатель белой «Волги» стоял в ризе и пел баритоном.

Когда мы ступили в церковь, старухи упали на колени – не перед нами, а потому что так надо было по ходу службы. Все упали на колени, кроме нас и попа. Мы посмотрели друг на друга с доброжелательным любопытством.

На мне было надето короткое платье, покроем и размером похожее на мужскую майку. Из-за майки с боков и снизу текли мои нескончаемые голые руки и такие же нескончаемые голые ноги. Поп посмотрел на все это, допел свою фразу, энергично замахал кадиллом – энергичнее, чем раньше, а хор подхватил высокими голосами: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй мя...»

Когда я слушала церковное песнопение, со дна моей души поднималось что-то светлое, неконкретное, я чувствовала в себе пристальную связь с прошлым, и у меня слезы подступали к глазам.

Ив Монтан стоял возле моего плеча, торжественный и просветленный. Высоко кричал хор, крестились старухи. Мне казалось, будто мы венчаемся.

Потом вышли на улицу сменить обстановку. Ив Монтан купил на выходе свечку и, разломав на две части, отдал мне половину.

«Вместо кольца», – подумала я.

«Повенчавшись», мы отправились в свадебное путешествие. На городской пляж.

Я сидела прямо на камнях, а Ив Монтан нашел где-то заржавленные детские санки и сидел на санках. У него был радикулит, он боялся простудиться.

Вдоль набережной зажглись фонари. Световые дорожки дробились в воде. На середине реки тревожно и страстно скрипели баржи.

– Ты с кем живешь? – спросил Ив Монтан.

– С мамой.

– А отец где?

– У меня его не было.

– Значит, твоя мать одна живет?

– Почему одна? Со мной.

– Несчастливая баба... – задумчиво сказал Ив Монтан.

Я очень удивилась. Я почему-то никогда не думала об этом. Я никогда не смотрела на свою мать с этой точки зрения.

– Она интеллигентный человек? – спросил Ив Монтан.

– Нет, – не сразу сказала я.

– А чем она занимается?

– Преподает зарубежную литературу. Инструктор по Чарльзу Диккенсу.

Я поднялась, стащила через голову платье и пошла, преодолевая коленями тугую воду. Выбросила вперед руки, медленно упала, почувствовала сначала ожог, потом блаженство. Плаваю я плохо, но держусь на воде хорошо. И когда я держалась на воде, вспоминала генами те времена, когда была тритоном и переживала эту стадию эволюционного развития. Ученые говорят, что в каждой человеческой клетке заложена вся информация: кем человек был, что он есть и кем будет. В воде мои клетки кричали, что я была земноводная, сейчас – никто, ничто и звать никак, я буду человек-амфибия с легкими и жабрами, а может, даже с крыльями и полыми костями.

Ив Монтан сидел на берегу, на детских санках.

– Эй! – крикнула я. – Инструктор! Научите меня плавать!

- Мне надоело учить!
- Тогда плавайте сами!
- Не хочу!

Я вышла из воды, села у его ног на теплые камни.

– А ты что собираешься делать? – спросил Ив Монтан.

– Сейчас или вообще? – не поняла я.

– Вообще. – Его, как и маму, заинтересовал мой социальный облик.

– Мне бы хотелось найти какое-нибудь веселое занятие. Не в том смысле, что смешно или легко. Пусть будет трудно, но весело. Есть такая специальность?

– Есть. Культработник в доме отдыха.

– Культработник – это инструктор по веселью. А я хочу тихо нести праздник. Для этого не обязательно разгадывать викторины и прыгать в мешках.

На противоположном берегу размещался стадион «Лужники». Оттуда доносился неясный гул – может быть, в этот самый момент там шли спортивные соревнования.

– Холодно? – Ив Монтан положил руку на мое плечо.

Я не ответила. Ощущение счастья похоже на ощущение высоты. Необычно и страшно. Он прислонил мои мокрые плечи к своей крахмаленной рубашке. Стало еще выше и еще страшнее.

Где-то за кулисами нервничали спортсмены. А я была на сцене и играла самую главную роль.

Ив Монтан поцеловал меня – осторожно, как мама. Я и раньше целовалась на катке, вернее, после катка. И на вечере, вернее, после вечера. Я и раньше закрывала глаза, чтобы не отвлекаться на посторонние предметы. Но сейчас все было иначе, чем раньше. Я почувствовала ожог, потом блаженство, будто упала в холодную воду. Мои клетки несли совсем другую информацию: я всегда, всю жизнь сидела у его ног, и над моей жизнью всходило его лицо.

– А почему блондинка не пошла с вами в театр?

Это был провокационный вопрос. Я ждала, что Ив Монтан поблагодарит судьбу, которая предложила ему вместо блондинки меня.

– Не захотела, – сказал Ив Монтан. Не понял моей провокации.

– Могла бы просто не пойти – и все. Зачем было отдавать билет? Демонстрация...

Я совсем близко подвела его к нужной мысли. Он должен был сказать: «Тогда я не встретил бы тебя...»

– Конечно, некрасиво, – согласился Ив Монтан.

– Тогда вы не встретили бы меня, – прямо сказала я. Мне надоели намеки.

– Она хотела, чтобы я понял. И я понял, только не то, что она хотела.

Я почувствовала, что не в силах переключить его внимание с блондинки на себя.

– Сколько вам лет? – Я решила переключить внимание на него самого, а заодно поближе познакомиться.

– Тридцать один.

– Вы женаты?

– Женат.

– А как ее зовут?

– Так же, как тебя.

– Вы ее любите?

Ив Монтан напряженно задумался.

– Конечно, – вспомнил он. Было непонятно, о чем он думал так долго. Для того чтобы так ответить, можно было не думать вообще.

– А как же блондинка? – удивилась я.

– Блондинка – это блондинка, а жена – это жена.

– А я – это я?

– А ты – это ты.

Вспарывая воду, прошел речной трамвайчик. Кто-то возвращался на нем из своего свадебного путешествия.

– Но я так не хочу.

– А как ты хочешь?

– Я хочу, чтобы жена – это я, блондинка – это я и я – это я. Всю жизнь.

– Конечно, человек должен заниматься одним делом и жить с одной женщиной. Но бывает, что не найдешь своего дела и не встретишь свою женщину. Все бывает, как бывает, а не так, как хочешь, чтобы было. Поэтому надо уметь радоваться тому, что есть, а не печалиться о том, чего нет.

– А я так не хочу! Я так не буду!

– Будешь. Все так живут.

Моя мама во всем видит проблемы, а Ив Монтан ни в чем не видит никаких проблем. С мамой я, как бестолковый альпинист, постоянно преодолеваю горные вершины. А с Ивом Монтаном я бреду по пустыне Каракумы и не вижу ни одного холмика.

– А я знаю, почему блондинка не пошла с вами в театр.

– Почему? – Он обернулся.

– Потому что вы инструктор. Учите, как плавать, а сами не плаваете. Учите, как жить, а сами не живете.

– Дурочка, – сказал Ив Монтан. – В восемнадцать лет я такой же был.

– А вы не помните себя в восемнадцать лет.

– Откуда ты знаешь?

– Вы сами сказали.

Я поднялась, стала натягивать свою «майку». Ив Монтан достал папиросу, поставил ноги на санки – так, будто собирался скатиться. Но полозья были ржавые, вместо снега – камни. Да и куда ему было ехать? Разве что в реку... Мне вдруг стало неудобно бросать его одного в чужом городе на выброшенных санках.

– Хотите, я вас домой провожу? – предложила я.

– Ты что, обиделась? – заподозрил он.

На что я могла обидеться? Он ничего не обещал мне и не хотел казаться иным, чем есть на самом деле. Правда, я приняла его за Ива Монтана, а он оказался инструктором по плаванию из Средней Азии. Но ведь это была моя ошибка, а не его. Он был ни при чем.

– Просто вы приезжий, – объяснила я. – А я здесь живу...

Весь день стояла жара, а так как природа все уравнивает, ночью прошел дождь. Асфальт стал блестящим, а лужа возле нашего дома заметно выщела. В ней увеличился процент воды. Я шла в «майке», обхватив себя руками, чтобы не трястись от холода. У меня дрожали все внутренности, я просто физически устала от этой вибрации. Я была пустая настолько, что даже кости были полы, как у птицы, и ветер гудел в них – оттого, наверное, так холодно было.

Лифт в доме был выключен, я пошла пешком и где-то в районе третьего этажа вспомнила про соль. Была уже ночь, магазины закрыты. Соль можно было достать только у нашей дворничихи Нюры. Она жила на первом этаже, и у нее в прихожей стоял целый мешок соли – крупной и мутной, как куски кварца. Этой солью она посыпала зимой скользкие дорожки, чтобы люди не падали.

Нюра открыла мне дверь босая, в ночной рубашке. Выслушав мою просьбу и мои извинения, уточнила:

– Тебе много?

– Да нет, – сказала я, – чуть-чуть...

Она ушла, потом вернулась и протянула мне спичечный коробок, туго набитый солью. Я поблагодарила, а Нюра не слушала, смотрела на меня задумчиво и вдруг спросила:

– Тебе, Танька, сколько лет?

– Восемнадцать.

– Дура я, – решила Нюра. – В войну надо было б мне ребенка принести, сейчас бы уже такая была...

– Больше, – сказала я.

– Даже больше, – огорчилась Нюра. – Совестно было – с ребенком и без мужика. А уж лучше одной, чем с каким алкоголиком...

– Или с пьяницей.

– Это все одно.

– Нет, – сказала я, – это большая разница: пьяница хочет – пьет, не хочет – не пьет. А алкоголик и хочет – пьет и не хочет – тоже пьет.

Когда я вернулась домой, мама подметала квартиру – наводила мещанский уют. Уют современных мещан, которые живут медленно и невнимательно. Она выпрямилась, стала смотреть на мои голые руки и ноги, на обвисшие после купания неорганизованные волосы.

– Где ты была? – спросила мама и поудобнее взялась за веник. Было непонятно – то ли она хотела на меня нападать, то ли от меня защищаться.

– На! – Я протянула ей спичечный коробок.

– Что это? – растерялась мать.

– Соль, – объяснила я. – Ты же просила...

– А где ты ее взяла?

– Сама выпарила.

Я повернулась и пошла в ванную. Мне хотелось побыть одной, а главное – согреться.

В меня медленно входило тепло, заполняя мои кости. За дверью осторожно, будто я сплю, двигалась мама, и я поняла вдруг, что она несчастная баба, что ей тоже было столько лет, сколько мне. Поняла, что у меня был отец – может быть, такой же, как Ив Монтан. Может быть, мама тоже хотела заниматься одним делом и жить с одним человеком, но у нее ничего не получилось, потому что все бывает, как бывает, а не так, как хочешь, чтобы было.

Я вспомнила, как Ив Монтан отломил мне полсвечки, и заплакала.

Слезы скатывались к ушам, а потом приобщались к остальной воде. Вода и слезы были одинаковой температуры, мне казалось, будто я лежу, погруженная в собственные слезы.

В дверь постучала мама.

– Тебе Петров звонил, – сказала мама.

Я не отозвалась, наивно полагая, что мама постучит и уйдет. Но мама не уходила.

Я вышла из собственных слез, надела халат и стала вытирать лицо. Терла до тех пор, пока оно не сделалось красным.

Мама посмотрела на меня и вдруг сказала:

– Таня, хочешь, я не буду тебя больше бить?

– Все равно... Ты ведь не целишься.

– Я тебя больше пальцем не трону, – пообещала мама. – Иди поешь.

– Не хочу.

– А что ты хочешь?

Я пошла в комнату и стала стелить свой диван. Возле дивана стоял ящик для белья – с дырками, чтобы проникал воздух. Я наклеила однажды на дырки с внутренней стороны рисованные рубли – получилось, будто ящик набит деньгами.

– Я не знаю, чего я хочу, – сказала я маме. – Я знаю, чего не хочу.

Мама ждала.

– Я не хочу быть инструктором... Я хочу сама плавать или посыпать дорожки солью, чтобы другим ходить удобно было. И я просто счастлива, что провалилась в педагогический. Я больше не буду туда поступать.

– А как ты собираешься дальше жить?

– Чисто и замечательно.

– Таня, если ты будешь так со мной разговаривать...

Мама хотела добавить что-то, но вовремя спохватилась. Все-таки обещала не трогать меня пальцем и даже давала честное слово.

Зануда

Нудным человеком называется тот, который на вопрос: «Как твои дела?» – начинает рассказывать, как его дела...

Женька был нудным. Он все понимал буквально. Если он чихал и ему говорили: «Будь здоров», отвечал: «Ладно». Если его приглашали: «Заходи», он заходил. А когда спрашивали: «Как дела?», начинал подробно рассказывать, как его дела.

Люся и Юра не считались нудными, понимали все так, как и следует понимать: если их приглашали – «заходите», они обещали и не заходили. На пожелание «будьте здоровы» отвечали «спасибо». А на вопрос «как дела?» искренне делились: «Потихоньку».

Юра закончил один институт, а Люся два – очный и заочный. У нее было наиболее высокое образование по сравнению с окружающими. Образование, как известно, порождает знание. Знание – потребность. Потребность – неудовлетворенность. А неудовлетворенный человек, по словам Алексея Максимовича Горького, полезен социально и симпатичен лично.

Люся была полезна и симпатична, чем выгодно отличалась от нудного Женьки. Они жили на одном этаже, но никогда не общались, и линии жизни на их ладонях шли в противоположных направлениях. Поэтому появление Женьки на пороге Люсиного дома было неоправданным, тем не менее это случилось в одно прекрасное утро.

– Здравствуйте, – сказала Люся, так как Женька молчал и смотрел глазами – большими и рыжими.

– Ладно, – ответил Женька. Слово «здравствуйте» он понимал как обращение и понимал буквально: будьте здоровы.

Люся удивилась, но ничего не сказала. Она была хорошо воспитана и умела скрывать свои истинные чувства.

– У меня сломалась бритва, – сказал Женька. Голос у него был красивый. – Я бы побрился бритвой вашего мужа. Но это зависит не только от меня.

– Пожалуйста. – Люся не умела отказывать, если ее о чем-нибудь просили.

Она привела Женьку на кухню, положила перед ним бритву и зеркало, а сама ушла в комнату, чтобы не мешать Женьке и чтобы написать корреспонденцию о молодежном театре. Написать было не главное, а главное – придумать первую фразу, точную и единственно возможную. Заведующий отделом информации обязательно требовал первую фразу. Если ее не было, он дальше не читал.

Люся попробовала сосредоточиться, но за дверью жужжала бритва, и в голову лезли посторонние мысли. Например: хорошо бы в этом году ей исполнилось не 27, как должно, а 26, а на следующий год 25, потом 24 и так до двадцати. Тогда через семь лет ей было бы не 34, а 20.

Мысли эти не имели ничего общего с молодежным театром и не годились для первой фразы. Люся вылезла из-за стола и пошла на кухню, чтобы узнать, как продвигаются Женькины дела.

Дела продвигались медленно, возможно, потому, что смотрел Женька не в зеркало, а мимо – на стол, где стояла банка сгущенного молока, творог и «Отдельная» колбаса.

Люся поняла, что Женька хочет есть.

– Налить вам чаю? – спросила она.

– Как хотите. Это зависит не от меня.

Люся удивилась, но ничего не сказала. Она не хотела разговаривать, чтобы не рассредоточиться и сохранить себя для первой фразы.

Она налила ему чай в высокую керамическую кружку, подвинула ближе все, что стояло на столе.

Женька молча начал есть. Ел он быстро – признак хорошего работника, и через пять минут съел все, включая хлеб в хлебнице и сахар в сахарнице. Потом он взял с подоконника «Неделю» и стал читать. Что-то показалось ему забавным, и он засмеялся.

– Вы поели? – спросила Люся.

Она ожидала, что Женька ответит: «Да. Большое спасибо. Я, наверное, вас задерживаю, я пойду». Но Женька сказал только первую часть фразы:

– Да. – «Спасибо» он не сказал. – Я вам мешаю? – заподозрил он, так как Люся продолжала стоять.

– Нет, ну что вы... – сконфуженно проговорила она и ушла в другую комнату.

Она слышала, как Женька переворачивает страницы. Потом что-то грохнуло и покати-лось – видимо, со стола упала тарелка или керамическая чашка.

Люсе не жалко было ни тарелки, ни чашки, а жалко утреннего времени, которое она так ценила и которое уходило зря. Люся почти материально ощущала в себе талант и отдавала его людям. Обычно она делала это по утрам, но сегодня ей помешал Женька, и Люся чувствовала свою вину перед человечеством.

И Женька тоже чувствовал себя виноватым.

– Я уронил... – сказал он, появившись в дверях.

– Ничего, – равнодушно ответила Люся, – не обращайтесь внимания.

– Хорошо, – согласился Женька, кивнул и прошел к письменному столу.

Женька побрился и поел, выкурил хорошую сигарету, прочитал «Неделю» от корки до корки, до того места, где сообщался адрес редакции. А теперь ему хотелось поговорить. Ему хотелось, чтобы его послушали.

– А меня с работы выгнали, – доверчиво поделился Женька.

– Где вы работали? – поинтересовалась Люся.

– В клубе жэка. Хором руководил.

– Интересно... – удивилась Люся.

– Очень! – согласился Женька. – Когда дети поют, они счастливы. Хор – это много счастливых людей.

– Почему же вас выгнали?

– Я набрал половину гудков.

– Каких гудков?

– Ну... это дети, которые неправильно интонируют. Без слуха...

– Зачем же вы набрали без слуха?

– Но ведь им тоже хочется петь.

– Понятно, – задумчиво сказала Люся.

– Конечно, – вдохновился Женька. – А начальница не понимает. Говорит: «Хор должен участвовать в смотре». Я говорю: «Вырастут – пусть участвуют, а дети должны петь».

– Не согласилась? – спросила Люся.

– Она сказала, что я странный и что ей некогда под меня подстраиваться. У нее много других дел.

Женька затянулся, и полоска огонька на его сигарете подвинулась ближе к губам, а столбик из пепла стал длиннее. Он стал таким длинным, что обломился и мягко упал на Женькин башмак, а с башмака скатился на ковер.

– Уронил... – удивился Женька, внимательно глядя на ковер. – Я могу поднять...

– Не надо, – сказала Люся. Она испытывала раздражение, но не хотела это обнаружить.

Женька посмотрел на нее, и Люсе почему-то стало неловко.

– Не надо, – повторила она. – Это мелочь...

– Ну конечно, – согласился Женька. Для него это было очевидно, и он не понимал, зачем об этом говорить так много.

Женьке было тепло и нравилось смотреть на Люсю, и он рассказал ей, как правильно приготовить водку; для этого нужно в бутылку «Столичной», которая покупается в магазине за три рубля семь копеек, бросить несколько кристалликов марганцовки, которая продается в аптеке и стоит гораздо дешевле. Через два дня эту водку следует процедить сквозь вату, на вате останется осадок – черный как деготь, а водка идет голубая и легкая, как дыхание.

Женька ходил по комнате, сунув руки в карманы, обтянув тощий зад, и рассказывал – уже не о водке, а о женщинах.

Женька знал двух женщин. С одной ему было хорошо и без нее тоже хорошо. Без другой ему было плохо, но с ней тоже плохо. Женька мечтал о третьем возможном варианте, когда с ней ему будет хорошо, а без нее плохо.

Поговорив немного о любви, Женька перешел к дружбе. Он рассказал Люсе о своем приятеле, который на спор выучил язык народности таты. Этот язык знают только сами таты и Женькин приятель, и больше никто.

От друзей Женька перешел к хорошим знакомым, а от них – к родственникам.

В пять часов с работы вернулся Юра. Увидев его, Женька остановился и замолчал.

– Добрый день, – поздоровался Юра.

– Да, – согласился Женька, потому что считал сегодняшний день для себя добрым.

Юра удивился этой форме приветствия и тому, что в гостях Женька, что накурено и пепел по всему дому, что Люся сидит в углу, сжавшись, без признаков жизни.

Все это выглядело странным, но Юра был человеком воспитанным и сделал вид, что всё правильно, – именно так все и должно выглядеть.

– Как дела? – спросил Юра у Женьки.

– На работу устраиваюсь, – с готовностью откликнулся Женька. – Странная, в общем, работа, но дело не в этом. Когда человек работает, он не свободен, потому что по большей части делает не то, что ему хочется. Но, с другой стороны, человек не всегда знает, что ему хочется. – Женька вдохновился и похорошел. Он любил, когда интересовались его делами и когда при этом внимательно слушали. – Видите ли...

Женька запнулся, ему показалось, Юра что-то сказал.

– Что? – переспросил он.

– Ничего, – сказал Юра и повесил плащ в стенной шкаф.

Он вешал плащ, и лицо у него было рассеянное, и Женька понял, что слушал он невнимательно, и ему самому стало неинтересно.

– Я пойду... – неуверенно проговорил Женька.

– Заходите, – пригласил Юра.

– Ладно, – пообещал Женька и остался стоять. Ему не хотелось уходить, а хотелось рассказать все сначала, чтобы Юра тоже послушал. Но Юра молчал, и Женька сказал:

– До свидания.

«До свидания» он понимал буквально: то есть до следующей встречи. Женька ушел, а Люся легла на диван и заплакала.

Женька ушел в пять, а в восемь пришли гости.

Люся обычно надевала короткое платье без рукавов – у нее были красивые руки и ноги, – в меру короткое и в меру без рукавов. Когда мужчины видели столько красоты и меры – признак искусства, они громко восхищались Люсей и говорили, что она красивая и талантливая. Люся верила и делала вид, что не верит.

Гости вытирали у порога ноги, не кидали со стола чашек и не рассказывали про родственников. Помимо того, что гости были хорошо воспитаны, они были талантливы. Каждый умел делать что-нибудь такое, чего не умел никто другой.

Костя, например, обладал талантом трагедийного актера; когда он начинал жаловаться на свою жизнь, всем хотелось поставить локти на стол, опустить голову на ладони и горько просветленно зарыдать.

У Кости был сын, творческая работа и кооперативная квартира. В жизни ничего не дается даром, за все приходится платить либо деньгами, либо здоровьем. Костя платил деньгами. За квартиру – в рассрочку, за сына – двадцать пять процентов из месячной зарплаты, за творчество – отсутствием пенсии в старости. Расплачиваясь за все, Костя ничего не получал взамен. Квартира оказалась неудобной (за стеной жил скрипач), сын рос в другой семье, а творческая работа не обеспечивала постоянного заработка.

Эльга не имела никаких талантов. Это была Люсина подруга детства, а друзья детства не выбираются. Они как родственники – какие есть, такие есть. Эльга ни одного дня не могла прожить без любви. Если в ее жизни случался такой день, она просто ничего не соображала. Она не умела даже соображать без любви.

Третьего гостя звали Джинджи. Его фамилия была Джинджихашвили, но друзья постановили, что это не фамилия, а песня с припевом, и постановили ее урезать.

Джинджи обладал способностью громко хохотать без причины. Вернее, причин у него было достаточно: Джинджи был здоровый и сильный, умел хотеть и точно знал, чего хочет. У него была развита инерция равномерного прямолинейного движения.

У Юры, хозяина дома, такая инерция отсутствовала совершенно. Зато была развита инерция покоя. Шаман из вымирающего племени удэгейцев, дожив до 132 лет, сказал: «Счастье – это сама жизнь, и не надо искать иного». Ознакомившись с этой точкой зрения, Юра не стал искать иного счастья, кроме того, которое у него было.

Он сосредоточенно выпил рюмку и прислушался к себе. Прислушавшись, встал и направился к пианино. Юра умел исполнять «Весну» Грига и романс «Я встретил вас». «Весну» он выучил в детстве по нотам, а романс подобрал по слуху. И сейчас он играл и пел в точности, как Козловский, даже лучше. А все слушали, и всем хотелось счастья. И если счастье было, они не знали об этом, потому что никто не знает, как выглядит счастье, и хотели еще чего-то. Одним не хватало денег, другим здоровья, третьим власти над людьми, четвертым детей. Косте не хватало сразу первого, второго и третьего. Дети у него были.

– «Я встре-тил вас... – начал Юра. – И все... было-е... В жи-и-вше-м се... рдце а-а-а-жило...»

«Жило» Юра выговорил таинственно и почему-то шепотом, и было что-то такое в этом романсе – в словах и в музыке, – что все вдохнули полные легкие воздуха и закричали в сладкой тоске:

– «Я вспо-о-мнил вре-мя за-а-а-ла-то-е...»

– Да тише вы, – Юра перестал играть и повернул к обществу обиженное лицо. – Ревут, как носороги.

Все сконфуженно замолчали, а Юра воспользовался паузой и допел один, как Козловский. И ему не мешали.

Джинджи взял свой стул и сел рядом с Эльгой.

– Эльга, – сказал Джинджи, – ты замечательный человек. Это правда.

У Эльги только что окончилась одна любовь, а другая еще не началась. Требовалось время, чтобы после первой все улеглось.

– Не врывайся в мою паузу, – сказала Эльга.

Джинджи взял свой стул и поставил его возле Люси.

– Люся, – сказал Джинджи, – ты замечательный человек, правда. Я и раньше это предполагал, но теперь понял наверняка.

– А как ты это понял? – удивилась Люся.

– По некоторым приметам.

Люсе было интересно послушать поподробнее, но в это время в прихожей зазвонил телефон.

– Сними трубку, – попросила она Костю, который сидел возле двери с лицом талантливого трагика.

Костя думал в этот момент о том, что сегодняшний вечер – миг, и даже сто лет – миг в сравнении с вечностью. А через сто лет Кости уже не будет, и темно-серые штаны в рубчик, которые на нем надеты, переживут его имя.

Костя тихо вышел в прихожую, потом так же тихо вернулся и сел на свое место.

– Кто это звонил? – спросила Люся.

– Женя, – ответил Костя, и ни один мускул на его лице не дрогнул.

– Женька?!

– Может быть, Женька, но он сказал Женя.

Юра перестал играть, и в комнате стало тихо.

– Зачем он звонил? – спросил Юра.

– Он просил передать, что придет к вам ночевать.

– А ты что сказал?

– Я сказал: у вас гости.

– А он?

– А он сказал: ничего, пожалуйста.

Гости были не только воспитанные и талантливые. Гости были чуткие. Они не могли развлекаться, если ближнему грозила опасность.

Все сели вокруг стола и сосредоточились.

– Скажите, к вам родственники приехали, – предложил Джинджи и подвинул свой локоть поближе к Люсиному.

– Я говорить не буду, – отказался Юра и посмотрел на локоть Джинджи. – Я не умею врать.

– А я, значит, умею, – обиделась Люся. – Когда надо врать или одалживать деньги, когда надо унижаться, ты посылаешь меня.

– Пусть переночует, – выручил Костя, – не надо будет врать. И что такое одна ночь в сравнении с вечностью?

– Если он переночует одну ночь, – объяснил Юра, – он поселится здесь навсегда и завтра приведет своего приятеля.

Услышав, что ее ждет, Люся часто задышала, и брови у нее стали красные.

– А вы скажите, знакомые из Ленинграда приехали, – посоветовала Эльга.

– Я уже предлагал, не подходит, – напомнил Джинджи. – Его нельзя пускать.

– Не пускайте. – У Эльги было развито логическое мышление. – Заприте дверь, будто вас нет дома. Он позвонит-позвонит и уйдет.

В дверь позвонили. Все переглянулись. Юра быстро выключил свет.

– А почему он пришел к вам ночевать? – шепотом удивился Костя. – Это кто, родственник ваш?

– Ее друг. – Юра кивнул на жену. – Большой приятель.

– К нашему берегу вечно приплывет не дерьмо, так палка, – подытожила Эльга, имея в виду не столько Люсю, сколько себя.

Женька тем временем положил палец на кнопку, полагая, что хозяева не слышат.

Все имеет свой конец, даже жизнь. Женька тоже в конце концов снял палец с кнопки, и тогда стало тихо.

– Ушел... – тихо предположил Юра, подошел на цыпочках к двери и заглянул в замочную скважину.

Женька сидел на ступеньках возле лифта и ждал. Он все понимал буквально: раз хозяева не отпирают, значит, их нет дома. А раз их нет – они вернуться. Женька ждал, подперев лицо руками, и выражение у него было изумленно-печальное и какое-то отрешенное. А рядом на ступеньках стояла коробка с тортом, перевязанная бумажной веревочкой.

Юра вернулся в комнату.

– Сидит, – сообщил он.

– Вот это дает! – восхищенно сказал Джинджи.

– А долго он будет сидеть? – забеспокоилась Эльга.

– Всю жизнь, – убежденно сказала Люся.

– А как же нам теперь выйти? – удивился Костя.

– Никак, – сказала Люся. – Попались!

Прошло четыре часа.

В комнате было темно и тихо, слышно было, как урчал на кухне холодильник, тикали снятые с руки часы.

Юра спал на тахте. Он умел засыпать в любой обстановке и спал обычно крепко, без снов.

Возле него валетом лежал Костя, осмысливал жизнь, при этом старался отодвинуть Юрины ноги подальше от лица.

Эльга сидела в кресле и думала о том, что прошлая любовь кончилась не по ее инициативе, а новая еще не началась, и неизвестно, что приплывет к ее берегу в очередной раз.

Люся смотрела в окно, понимала, что не выспится и завтра снова не сможет работать, не сумеет сохранить себя для первой фразы.

– Джинджи, – с надеждой попросила она, – давай я скажу тебе первую фразу...

Джинджи ходил из угла в угол: страстно хотел домой. Он забыл о том, что Эльга хороший человек и Люся, по некоторым приметам, тоже хороший человек. Сейчас, когда нельзя было выйти, он больше всего на свете хотел в свои собственные стены к своей собственной жене.

– Какую первую фразу? – не понял он. – К чему?

– Ни к чему, просто первую фразу – и все.

Джинджи остановился.

– Зажмурьтесь, и закройте глаза, и представьте себе... – начала Люся.

– Зажмурьтесь и закройте глаза – одно и то же. Надо что-нибудь одно.

– А что лучше?

– Не знаю, – мрачно сказал Джинджи.

– Брось, – лениво предложила Эльга. – Кому все это надо?

– Если так рассуждать – ничего никому не надо. И никто никому. Кому ты нужна?

– И я никому не нужна, – спокойно сказала Эльга.

Люся отвернулась, стала глядеть на редкие огни в домах. Ей вдруг больше всего на свете захотелось, чтобы кто-нибудь спросил у нее: как дела? А она бы долго и подробно стала рассказывать про свои дела: про то, что гости ходят не к ним, а в их дом, потому что по вечерам им некуда деться. Про то, что начальник теряет ее работы, засовывает куда-то в бумаги, а потом не может найти. Про свою любовь, которая кончилась, и теперь, когда она кончилась, кажется, что ее не было никогда.

Но гости были людьми воспитанными. Никто ни о чем не спрашивал. Все сидели вместе и врозь. Впереди была долгая ночь и нескорое утро.

А Женька тем временем спокойно спал, уложив щеку на ладонь, и с интересом смотрел свои сны... Может быть, ему снились поющие дети.

Рарака

Слеза набухла медленно, долго, потом окончательно сформировалась и пошла по щеке. Добралась до края щеки, подождала еще одну слезу и, набрав тяжесть, сорвалась на стол, покрытый не то смолой, не то черной краской.

Лариска размазала слезу пальцем.

– Ну, скажи ему, как есть... – зашептала я. – Просто поди и скажи...

– Что?

– Ну как «что»... Скажи: «Я вас люблю!»

– А он? – Лариска подобрала очередную слезу языком.

– А он тебе ответит.

– Что?

– «Я вас тоже» или скажет: «А я вас нет!» Так ты хоть будешь знать.

– А как ты думаешь, что он скажет?

– Прекратите разговоры! – приказала Гонорская. – Если вам неинтересно, можете выйти из класса. Можете вообще не ходить на мой предмет.

Мы с Лариской замолчали.

– Побочная партия! – объявила Гонорская и подошла к роялю.

Она села, ударила по клавишам двумя руками, и мне показалось, что рояль удивился, как человек, и вздрогнул так, что даже подпрыгнул на всех трех ногах.

Гонорская играет громко и фальшиво по принципу: дурак не заметит, умный промолчит. Я веду себя как дурак и как умный. Замечаю и молчу. Но когда я слышу такое исполнение, я испытываю смутение и стыд.

Гонорская старается играть пореже и носит с собой магнитофон. И сейчас она закрыла рояль и включила магнитофон. Потом села на свое место и задумалась. О чем? Наверное, о любви. И весь наш выпускной курс музыкального училища – восемнадцать дев и трое юношей, – все сидят, слушают симфонию Калинникова и думают о любви. Кроме меня. Я считаюсь на третьем месте по красоте, после Тамары и Лариски, но я никогда не думаю ни о чем, кроме музыки.

У меня есть какие-то мальчики, три или четыре, а может, пять. С одним из них мы даже целуемся в парадном, но я каждый раз жду при этом, когда он отодвинет свое лицо от моего и я смогу уйти домой и сесть за пианино.

Я играю по восемь часов каждый день не потому, что я повышенно добросовестная, а потому, что все остальное мне неинтересно. Я не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, ни то ни другое. Это моя форма существования.

И еще я люблю бывать дома, потому что мне скучно без моих родителей, а им без меня.

Отец у меня красавец. В него влюблены все больные и весь медицинский персонал. Когда-то маме это нравилось, потом не нравилось, теперь все равно.

Магнитофон ревет, как водопроводная труба, но сквозь плохую запись я ловлю нежную витиеватую тему: звук бежит из звука, мысль никак не может остановиться. Потом приостанавливается незавершенно, чтобы передохнуть и снова начать свое чистое кружение.

Гонорская сказала, что Калинников рано умер. Я слушаю его душу. Представляю его себе с косым прибором в волосах, со светлыми карими глазами.

– Конечно! – горячо шепчет Лариска. – Ведь если бы он меня не любил, он не вел бы себя так.

– Как?

– Демонстративно равнодушно!

– Конечно! – шепчу я. – Просто он тебя дразнит!

... Чтение хоровых партитур – предмет необязательный, рассчитанный на то, что, если кто-нибудь по окончании училища захочет вести пение в общеобразовательной школе, он должен суметь прочесть с листа хоровую партитуру.

Я, например, собираюсь после училища поступить в консерваторию, стать лауреатом всех международных конкурсов и объездить весь мир.

Лариска собирается выйти замуж за Игнатия Петровича и родить ему троих детей. Он об этом пока ничего не подозревает.

У остальных студентов тоже более честолюбивые планы, чем пение в школе, поэтому к предмету все относятся с пренебрежением.

Занятия бывают раз в неделю – по вторникам, на один академический час положено по два ученика. Мы с Лариской ходим на чтение партитур вдвоем, на каждую из нас причитается по двадцать две с половиной минуты.

Сегодня вторник. Мы с Лариской стоим в мрачноватом коридоре первого этажа и ожидаем Игнатия Петровича.

– Ну что ты в нем нашла? – спрашиваю я.

– То, что он недоступен моему пониманию. Как марсианин.

– А Лерик доступен твоему пониманию?

Лерик – это Ларискин мальчик, курсант Военно-медицинской академии.

– Тоже недоступен, только с другой стороны, – говорит Лариска. – Я не понимаю, как можно быть таким синантропом.

Лариска влюблена в Игнатия, потому что он педагог, окончил консерваторию и как бы стоит на более высокой ступени развития. И потому, что он не обращает на Лариску никакого внимания.

– Раз я ему не нравлюсь, значит, он и получше видел, – делает Лариска логическое умозаключение. – Значит, я должна быть еще лучше тех, кто лучше меня. Великая война полов!

– И охота тебе... – удивляюсь я.

– Еще как охота! А чего еще делать?

– Мало ли серьезных дел?

– Это и есть самое серьезное дело, если хочешь знать.

– Какое?

– Быть нужным тому, кто нужен тебе!

Лариска стоит передо мной в полном снаряжении для великой войны полов. Верхние и нижние ресницы накрашены у нее так и настолько, что, когда она мигает, я слышу, как они клацают друг о друга, будто у куклы с закрывающимися глазами. Сложена она безукоризненно. Кофточка у нее не на пуговицах, а на шнуровке. Шнуровка неплотная, видна дорожка между грудями – нежная, невинная и какая-то самостоятельная, не имеющая к Лариске никакого отношения. Эта подробность моментально бросается в глаза и действует на людей по-разному. Девчонки сразу спрашивают: «А ты что, без лифчика ходишь?» – «Ага», – беспечно отвечает Лариска.

Мужчины ни о чем не спрашивают, изо всех сил стараются не смотреть.

Я стою рядом с Лариской в глухом свитере, как репей рядом с хризантемой.

В глубине коридора появляется Игнатий.

Лариска вся напрягается. Воздух вокруг нее делается густым от нервных флюидов.

Игнатий Петрович не торопясь подходит к двери. Здоровается. Отпирает класс ключом.

Лет Игнатию тридцать-сорок. Он высок, светловолос, не стрижен, похож на обросшего, выгоревшего за лето беспризорника. Кожа на лице бледная, вялая, вымороченная не то усталостью, не то отвращением к необязательности своего предмета.

Я никогда прежде не присматривалась к нему, но Ларискина влюбленность как-то возвысила его в моих глазах. Я вдруг отметила идеальную конструкцию его плеч и умение красиво носить красивые вещи.

– Садитесь! – пригласил Игнатий Лариску.

Лариска приопустилась на стул, как бабочка на неустойчивый цветок, грациозно разложила на клавишах свои легкие пальцы. Каждый палец – произведение искусства.

Игнатий сел рядом, ссутулившись. Лицо у него было свирепое.

– «Но-че-ва-ла ту-у-у-у-чка...» – обреченно завывала Лариска и задвигала пальцами.

Сложность заключалась в том, что надо было верхний голос петь, а три другие играть.

– «Зо-ло-та-а-я...»

– Фа, – сказал Игнатий.

Лариска долго смотрела в ноты, потом на правую руку, на левую, заглядывая под каждый палец.

Игнатий ждал, затем передвинул Ларискин палец с «ми» на «фа».

– «Та-я... – опять провела Лариска. – На-а груди-и...»

– Ре, – сказал Игнатий.

Лариска опять уставилась в ноты, на правую руку, на левую.

– Пустите, – сказал Игнатий.

Согнал Лариску, сел на ее место. Он не преследовал педагогических целей своим показом. Просто ему надоела Ларискина бездарность, захотелось поиграть самому.

Игнатий играл чисто и строго, прячась в музыке от вторников своей жизни.

Это был хороший, умный пианист. Я понимала, что здесь, в училище, он сидит не на своем месте и занимается не своим делом.

Лариска молчала, отчужденная от Игнатия своим унижением. Она понимала, что проиграла великую войну полов, не успев ее развязать.

– В следующий раз то же самое! – сказал Игнатий Лариске и встал.

Дальше была моя очередь.

Я раскрыла оркестровую партитуру «Ромео и Джульетты» Чайковского. Программу я прошла давно и играла на уроках целые оперные клавиры, свободно ориентируясь в тучах восьмушек и шестнадцатых.

Я уверена: когда Чайковский писал тему любви, четвертый такт, что-то смялось в его душе, он не мог продыхнуть. Я тоже в том месте не могу продыхнуть и погружаю свое смятение в средний регистр.

Игнатий хлопнул в ладоши. Я сняла руки с клавиш.

– Попробуйте в этом месте сыграть наоборот, – попросил он.

– Как? – не поняла я.

– Играйте любовь, как смерть, а смерть – как любовь.

– Почему?

– Потому что любовь всегда сильнее человека. А смерть – инъекция счастья.

Я не очень поняла, но перевернула несколько страниц обратно и стала играть сначала.

Игнатий подтащил свой стул к моему, забрал у меня два верхних голоса, оккупировал половину клавиатуры. Мы играли в четыре руки, толкаясь локтями.

За окном шел дождь.

Звуки не впитывались в стены, а отражались от них, и весь наш класс был наполнен любовью, как смерть, и смертью, как любовь.

Лариска выросла глазами в профиль Игнатия, и, если бы ей предложили пожертвовать для него почку, она не задумываясь отдала бы две.

– Ты будешь жечь свой костер для людей. Как древние греки. В этом твое назначение.

– Значит, я буду жечь костер, а ты около него греться?

– У меня свой костер, – сказала Лариска. – Костер любви.

Подул ветер, вздыбил челку над чистым Ларискиным лбом.

Мы побрели по тропинке Летнего сада, где когда-то Лиза встретила на свою голову Германна.

– Давай споем, – предложила я. – Три, четыре...

– А-а-а... – затянули мы с Лариской.

У нас была такая игра: выбросить звук одновременно, как карту, – каждая свой, и слушать, в какой они сплетаются интервал – терция, секунда, секста...

Сегодня получился унисон. Довольно редкое совпадение.

– Давай еще раз, – сказала Лариска.

– А-а-а-а... – затянули мы одновременно.

Снова получился унисон. Мы остановились и засмеялись.

Наверное, наши души были одинаково настроены в этот день, как два камертона, и отзывались Летнему саду одинаковым числом колебаний.

У Баха было двадцать один человек детей: семь от первой жены и четырнадцать от второй. Эти дети, должно быть, шуршали за стеной, как мухи в кулаке. А Бах уходил в свою комнату, снимал парик и баловался на клавишине.

Я не думаю, чтобы его одолевали сильные страсти, восторги упоения. Он раскладывал свою полифонию интуитивно, как гений, и точно, как математик. Поэтому я не люблю играть Баха с педалью.

Я сидела дома, играла Баха и ждала Лариску. Сегодня Лариска должна была объявить Игнатию о своей любви и послушать, что он скажет в ответ.

Я осталась дома, чтобы не являться на чтение партитур. А чтобы мой прогул не выглядел нарочитым, я не пошла в училище вообще.

В дверь позвонили. Это с войны полов явилась Лариска с трофеями.

Она медленно переступила через порог, вошла в прихожую. Качнулась к стене и припала лицом к обоям.

– Перестань грызть стену, – сказала я. – Что случилось?

Лариска молчала. Она стояла, раскинув руки, как Христос, если бы его прислонили к кресту не затылком, а лицом.

– Что случилось? – испугалась я.

Лариска не пошевелилась.

– Ну, что? – допытывалась я.

– Ничего, – вдруг спокойно проговорила Лариска и отошла от стены. – Я играла, потом перестала играть. Он спросил: «Чего же вы остановились?»

– А ты?

– Я стала играть дальше и доиграла до конца.

– А потом?

– Потом был звонок.

– И ты ничего не сказала?

– Он запретил.

– Как? – не поняла я.

– Глазами. Он так посмотрел, что я ничего не могла сказать.

Лариска говорила тихо и без выражения. У нее не было сил раскрашивать текст интонациями.

– Поешь чего-нибудь, – сказала я.

– Не могу... – прошептала Лариска. Губы у нее были серые.

– Тебе плохо? – испугалась я.

– Нет. Мне никак!

Я привела ее в комнату и уложила на диван. Дала под голову подушку, а сверху кинула плед.

– Твои скоро вернуться? – спросила Лариска.

– У них дежурство.

Лариска съежилась и закрыла глаза. Ресницы ее легли на щеки.

– Мне уйти? – спросила я.

Лариска потрясла головой, не открывая глаз.

Я села к роялю и стала тихо играть Баха.

Лариска открыла глаза и долго глядела перед собой.

Потом забормотала:

– Не думать, не думать, не думать, не думать...

Я перестала играть и спросила:

– Ты сошла с ума?

– Нет, – сказала Лариска. – Это моя гимнастика. Я каждое утро просыпаюсь – и как молитву: «Мужество, мужество, мужество...» Раз пятьсот. И перед сном тоже: «Надежда, надежда, надежда, надежда, надежда...»

Лариска заплакала. Из глаз на подушку поползли слезы. Эти слезы были такие горячие и горючие, что мне казалось, прожгут насквозь подушку и диван.

– Господи! – вздохнула я. – Да ты оглянись по сторонам. Сколько вокруг настоящих мужчин, которые только и мечтают, чтобы их прибрала к рукам такая девчонка, как ты. Что ты вцепилась в этого Игнатия? У него и рожа-то желтая, как лимон за двадцать пять копеек.

– Я не могу лишиться его своей любви, – сказала Лариска. – Может быть, это единственное, что у него есть. Он так одинок...

– А зачем ему твоя любовь?

– А зачем рарака в море? Роса на траве?

На улице раздался выстрел – должно быть, лопнула на ходу камера у грузовика.

Лариска вздрогнула, быстро села.

– Это он... – проговорила она.

Я посмотрела на нее внимательно и поняла, что она в некотором роде сошла с ума.

– Может быть, он любит тебя, но скрывает свои истинные чувства. Может быть, у него принципы, – предположила я.

Лариска возвела на меня глаза. Она не понимала, что это за принципы, во имя которых холостой человек должен скрывать свои истинные чувства.

– Он учитель, ты ученица, – растолковывала я. – Получается, он использует свое служебное положение. Это безнравственно.

Лариска спустила ноги с дивана и стала обуваться.

– Ты куда? – растерялась я.

– К нему. Я знаю, где он живет.

– Зачем ты к нему пойдешь?

– Я скажу: если он хочет, я брошу училище. Плевать мне на это училище!

– Тебя родители выгонят из дома.

– А мне не нужен дом, в котором нет его.

– Я тебя не пущу!

– Ты пойдешь со мной!

– Это нескромно, – попыталась я образумить Лариску. – Явилась – навитая, раскрашенная... Он первый тебя осудит. Мужчины ценят скромность!

Лариска вышла из комнаты. Я услышала, как в ванной яростно плещется вода.

Прошла минута, две, и в комнату вернулась уже не Лариска, а ее сестра из деревни Филимоново: волосы мокрые, гладкие, прижаты к темени и заправлены за уши. Открытый лоб, глаза без ресниц вообще.

– Ну как? – весело спросила Лариска, вытирая полотенцем мокрую шею.

Я молчала, ошеломленная переменой.

– Я готова! – объявила Лариска.

– Подожди... – взмолилась я, но это было равносильно тому, как если бы я обратилась к падающему самолету, вошедшему в штопор.

Памятник Гоголю был припорошен легко ссыпавшимся снегом, и на унылых бронзовых волосах лежала белая шапка.

Лариска шагала, покрыв голову двумя платками, истово глядя перед собой. Мы шли, как в разведку: не было ни прошлого, ни будущего, только настоящее, только ощущение опасности.

– Жди меня здесь, – приказала Лариска и скрылась во мгле парадного.

Я осмотрелась по сторонам. Дом был кирпичный, красный. Стена в наступающих сумерках казалась какой-то зловещей. Возле таких стен расстреливают заложников.

Снег шел хорошо. Деревья стояли будто обсахаренные. Поблескивали полосы трамвайных рельсов.

Я ждала Лариску и думала о том, что она сошла с ума, а я не в состоянии сойти с узкоколейки своей трезвости. Я молода и красива, на третьем месте по красоте. Но почему-то такие редкие, ценные обстоятельства, как молодость и красота, не дают мне никаких преимуществ. Я живу, как старуха, с той только разницей, что у меня впереди больше лет жизни. Значит, я дольше буду играть и любить своих родителей.

Я ждала Лариску, и мне тоже хотелось сильных, шекспировских страстей, хотелось бежать к кому-нибудь по морозу с мокрой головой и бросать ему под ноги свое хрупкое существование.

Появилась Лариска.

– Никто не открывает, – сказала она.

– Значит, его нет дома.

– А может, он прячется?

– Он ведь не знает, что ты придешь. Ты ведь не предупреждала.

– А как ты думаешь, он вернется?

– Конечно! Куда же он денется!

– А вдруг у него кто-то есть? – В Ларискиных глазах остановился ужас.

– Тогда бы он женился, – сказала я. – Ведь он свободен.

– А может, она не свободна?

– Значит, это не имеет никакого отношения к любви.

Лариска обняла себя за плечи, чтобы не дрожать крупно.

– Ты простудишься, – предсказала я.

– А как ты думаешь, если я простужусь и умру, что он сделает?

– Напьется, – предположила я.

– Правда? – обрадовалась Лариска.

– Напьется и заплачет, – пообещала я.

– Мой образ будет со временем высветляться в его памяти, и он влюбится в свою потерю.

– Подожди, может, еще и так влюбится.

Мы с Лариской брели вдоль красной стены. Мимо прошла очень высокая собака. Она шла и знала, что все на нее смотрят.

Лариска подняла голову.

– Смотри! – сказала она.

– Куда?

Я тоже подняла голову. В небе шло неясное брожение, как в кастрюле с закипающим супом. Мы стояли с Лариской, как две бесполезные косточки на дне кастрюли мироздания. Какой от нас навар...

– Видишь? – спросила Лариска. – Это моя нежность и печаль.

– Где? – Я вглядывалась в перистые облака, которые двигались, перемещались.

– Человеческие чувства и голоса не рассеиваются, а поднимаются в небо, – объяснила мне Лариска. – А оттуда передаются в более высокие слои атмосферы.

– Может быть, сейчас где-нибудь в галактиках бродит голос Калининкова...

Мы стояли, чуть покачиваясь, и смотрели, как выглядит Ларискина печаль. Она каждую секунду была разной.

Потом мы опустили головы и одновременно увидели Игнатия. В короткой дубленке, он быстро шел, глядя перед собой. Прошел, обогнув нас, не заметив.

– Игнатий Петрович! – вскрикнула Лариска, будто в нее выстрелили.

Он обернулся. Она подошла к нему, медленным самоотверженным движением стянула оба платка на воротник.

– Лариса? – удивился Игнатий. – Я вас и не узнал. А что вы здесь делаете?

Лариска смотрела на купол его лба, в стихийное бедствие его глаз.

– А я тут рядом живу, – проговорила она.

– Понятно...

Помолчали. Потом Игнатий сказал:

– Вы совершенно не готовитесь к занятиям, мы только напрасно теряем время. Я поговорю в учебной части, пусть вас переведут к Самусенке... Доброй ночи!

Он повернулся и пошел к своему парадному.

Лариска медленно тронулась за ним. Потом побежала.

Игнатий остановился и сказал не оборачиваясь:

– Я слышу ваши шаги. Не ходите за мной, потому что я вынужден буду проводить вас, а я очень устал...

Когда я подошла к Лариске, она стояла как каменная, и ее новое лицо не выражало ничего.

– Пойдем! – Я покрыла ее платками и подняла воротник. – Если бы ты ему не нравилась, он не переводил бы тебя к Самусенке.

– Оставь меня. Я хочу побыть одна.

– Что ты собираешься делать? – испугалась я.

– Ничего, – гордо сказала Лариска. – Перейду к Самусенке.

Наш поход в разведку окончился расстрелом возле каменной стены.

Лариска ушла. Я осталась одна против дома Игнатия. Мне хотелось подняться к нему и спросить: «Ну почему? Почему? Почему?»

Говорят, для того чтобы прыгнуть с трамвая, необходимо выполнить три пункта инструкции:

1. Встать на подножку и сконцентрировать в себе состояние готовности к прыжку.
2. Прыгнуть вперед по ходу трамвая и пробежать трусцой, чтобы сохранить инерцию движения и не свалиться, как мешок, под колеса идущего транспорта.
3. Игнорируя свистки милиционера, перебежать дорогу и скрыться за дверьми родного училища.

После того как ты спрыгнул, не попал под колеса и убежал от милиционера, после того как ты уцелел, особенно остро чувствуешь аромат жизни, ее первоначальные свойства, стертые каждодневной обыденностью.

У японцев есть соус, который они добавляют в еду. Этот соус усиливает и проявляет вкус предлагаемой пищи: мясо как бы становится еще более мясным, а рыба – рыбной, и у японца не возникает сомнения, что он ест именно рыбу и ничто другое.

Риск – это своего рода жизненный соус. Я прыгаю с трамвая не для того, чтобы острее ощутить радость бытия. Просто наше училище стоит на полдороге между двумя трамвайными остановками, и я выбираю наиболее короткий путь.

Я прибежала на чтение партитур и разложила ноты.

Оттого что пианино было старое – ему лет сто, а помещение мрачноватое – раньше здесь жил угрюмый купец, – еще светлее и белее выглядел белый свет за окном.

Игнатий вошел почти следом за мной. Вид у него был оживленный, взъерошенный, как будто он тоже только что спрыгнул с трамвая на полном ходу.

Он подтащил стул к инструменту и потер руки, как бы готовясь к пиру своего самоутверждения. Я была его лучшей ученицей, смыслом его пребывания в училище, и, видимо, он очень нравился себе в моем обществе.

У нас было сорок пять минут – двадцать три мои и двадцать две Ларискины.

Я открыла пролог «Снегурочки», посмотрела на Игнатия. Его лицо было близко, и я вдруг увидела, что оно действительно переделено на три части.

Купол лба, щедрый размах бровей и сильные глаза веселого самоубийцы – это его духовность. Нос – мужественность. Рот – жестокость. Все это ему действительно принадлежало, но было открыто не мной. Мне стало казаться, что Лариска стоит за дверью, прижавшись спиной к стене. У меня появилось ощущение, будто я надела краденую вещь и встретила хозяина.

Я стала смотреть в ноты.

– Начнем, пожалуй... – поторопил меня Игнатий.

Я перевела глаза с нот на клавиши, а с клавиш на колени.

– Что произошло? – спросил Игнатий.

Действительно, что произошло?

Игнатий не просил Лариску любить его, она сама его любила, и его вины здесь не было никакой. Но Лариска любила его так красиво, так талантливо. И это не пригодилось. И теперь неприкаянная Ларискина любовь плавает над крышами. А Игнатий сидит, как сидел, и его лицо по-прежнему переделено на три части. А я, ее подруга и вместилище тайн, сижу на ее месте и занимаю ее самые главные двадцать две минуты.

– Что с вами? – удивился Игнатий.

– Я больше не буду ходить на чтение партитур, – сказала я, исследуя переплетение чулка на своем колене.

– Почему?

– Потому что я буду занята основным предметом. Через месяц – диплом.

Игнатий поднялся и отошел к подоконнику – должно быть, ему удобнее было издали смотреть на меня.

Мне тоже так было удобнее. Я подняла на него глаза и по полоске его сомкнутого рта увидела, что он оскорблен.

Мы молчали минут пять, и у меня звенело в ушах от напряжения.

– Почему вы молчите? – спросила я.

– А что вы хотите, чтобы я сказал? – спросил Игнатий.

Я пожалала плечами, и мы снова замолчали трагически надолго.

– Если вас волнует, что я пожалуюсь в деканат, можете быть спокойны: жаловаться я не буду. Но здороваться с вами я тоже не буду.

– Пожалуйста, – сказала я.

С тех пор мы не здоровались.

С Лариской, как ни странно, мы тоже сильно отделились друг от друга.

Она не хотела возвращаться мыслями ни в Летний сад, ни к красной стене, и Лариска избегала меня, интуитивно подчиняясь закону самосохранения.

Однажды мы столкнулись с ней в раздевалке и вышли вместе.

– Я больше не хожу на партитуры, – сказала я.

– Напрасно... – самолюбиво ответила Лариска.

На ее лбу сидел фурункул, величиной с грецкий орех. Я вспомнила, что она живет в Ленинграде без родных, снимает угол и ест от случая к случаю.

– Ну, как ты? – неопределенно спросила я, давая возможность Лариске ответить так же неопределенно, вроде: «спасибо» или «хорошо».

– Плохо, – сказала Лариска.

Она одарила меня откровенностью за то, что я приняла ее сторону, перестала ходить к Игнатию.

– Я все время оглаживаю себя, успокаиваю, как ребенка, – сказала Лариска. – Но иногда мне хочется закричать... Я только боюсь, что, если закричу, земной шар с оси сорвется.

– А Лерик? – спросила я.

– При чем тут Лерик?

После вручения дипломов был концерт.

Когда я вышла на сцену, обратила внимание: пол сцены, ее основание, выстлан досками, и мне показалось, будто я вышла на рабочую строительную площадку.

Я увидела зал, приподнятые лица, преобладающие цвета – черно-белые.

Я видела клавиши, бесстрастный черно-белый ряд. А дальше не видела ничего.

Я села за рояль. На мне платье без рукавов. Мне кажется, что рукав, полоска ткани, отъединит меня от зала. А сейчас мне не мешает ничего.

Я взяла первую октаву в басах.

Я держу октаву, концентрирую в себе состояние готовности к прыжку.

Во мгле моего подсознания светящейся точкой вспыхнула рарака, я оторвалась от поручней и полетела под все колеса.

Я играла, и это все, что у меня было, есть и будет: мои родители и дети, мои корни и мое бессмертие.

Когда я потом встала из-за рояля и кланялась, меня не было. Меня будто вычерпали изнутри половником, осталась одна оболочка.

За кулисами ко мне подошла Лариска и сказала:

– Ну как ты вышла?

Ей не нравилось мое платье. Она вздохнула и добавила:

– Эх, если бы я могла выйти, уж я бы вышла...

Дело было в том, что она могла выйти, а я могла играть.

После концерта начались танцы.

Оркестр был составлен из студентов и преподавателей. За роялем сидел наш хормейстер Павел, с точки зрения непосвященных, шпарил как бог. В обнимку с контрабасом стояла Тамара, которая занимала в училище первое место по красоте. А на ударниках со своей идеальной конструкцией плеч восседал Игнатий. Лицо у него было наивное и торжественное, как у мальчика, – видно, ему там нравилось.

Лариска пришла на выпускной вечер с известным молодым киноартистом, которого она одолжила у кого-то на несколько часов. Его портретами был оклеен весь город.

Киноартисту дана была актерская задача: играть влюбленность, он не сводил с Лариски своих красивых бежевых глаз.

Лариска была блистательна, вся в чем-то красно-белом, гофрированном, хрустящем, как бумажный китайский фонарь. Выражение ее лица было таким, будто у нее полные карманы динамита.

Игнатий взмахнул палочками: раз-два, три... раз, два, три... Первая... пятая...

Лариска вцепилась в киноартиста, и их вынесло первой парой на самую середину зала.

Киноартист чуть-чуть сутулился над Лариской, а она, наоборот, откинулась от него, ее оттягивала центробежная сила. Он был прекрасен, как гений чистой красоты, и не сводил с Лариски глаз, а она – с него. Все было так красиво и убедительно, что хоть бери кинокамеру и снимай кино.

Постепенно вальс заразил всех, и через минуту все задвигались, заколыхались, негде было яблоку упасть.

Я стояла возле стены, меня никто не приглашал. Может быть, мужчины побаивались моей избранности, исключительности. А может быть, рассудили: раз я умею так хорошо играть на рояле, значит, мне и без танцев хорошо.

Вдруг я заметила, что Лариска танцует не с киноартистом, а с Гонорской, нашей преподавательницей по музыкальной литературе.

Гонорская – округлая и широкая в талии, как рыба камбала. Если меня когда-нибудь постигнет такая талия, я просто буду срезать с нее куски.

Лариска с Гонорской держались друг за дружку, но не танцевали, а стояли на месте и цепляли ногами. Им, наверное, обеим казалось, что они танцуют. Их неподвижность особенно бросалась в глаза на движущемся фоне.

Потом Лариска отделилась от Гонорской, нашла меня глазами и ринулась в мою сторону, прорезая толпу, как ледокол «Ермак». Лицо у нее стало совсем маленькое, все ушло в глаза. А глаза – огромные, почти черные от широких зрачков.

– Ты знаешь, что мне сказала Гонорская?

Я должна была спросить: «Что?» Но я молчала, потому что знала: Лариска и так выложит.

– Она сказала, что Игнатий не женится никогда. Ни на ком.

– Почему?

– Потому что он выжженное поле, на котором ничего не взрастет...

Я ничего не поняла.

– Представляешь? Какое счастье! Теперь он никому не достанется, а я его еще больше буду любить!

Лариска закусил губу. Ее брови задрожали, и из глаз в три ручья хлынули несолёные, легкие, счастливые слезы.

К нам пробрался киноартист.

– Танго... – интимно сказал он Лариске, и в его исполнении это слово звучало особенно томно и иностранно.

– Да отвяжись ты, чеснок! – выговорила Лариска и помчалась куда-то к выходу, победно полыхая красным и белым, будто факел, зажженный от костра любви.

Киноартист профессионально скрыл свои истинные чувства, спокойно посмотрел на меня и спросил:

– Хочешь, спляшем?

Я положила руку с куцыми ногтями пианистки на его плечо и двинулась с места.

Было тесно и душно. Меня толкали в бока и в спину. Я была неповоротлива, как баржа, – а танго тягостное и бесконечное, как ночь перед операцией.

Игнатий сидел выше всех, среди своих барабанов, и над его стройной макушкой мерцал нимб его непостижимости.

Прошло тринадцать лет.

Я стала тем, кем хотела: окончила Московскую консерваторию, стала лауреатом всех международных конкурсов и объездила весь мир. Не была только в Австралии.

Лариска тоже стала тем, кем хотела: вышла замуж за военного инженера, москвича, родила троих детей. Инженер демобилизовался, и теперь они живут в Москве.

Я с ней не вижусь, как-то не выходит. Знаю только, что ее новая фамилия Демиденко и живет она на проспекте Вернадского.

Однажды я получила из нашего училища письмо с приглашением на юбилей. Оно начиналось так: «Уважаемая Тамара Григорьевна!»

Видимо, в конверт с моим адресом вложили письмо Тамаре, той, что на первом месте по красоте. Значит, мое письмо попало к ней.

Я долго смотрела на конверт, на письмо, потом ни с того ни с сего оделась, вышла на улицу, взяла в Горсправке Ларискин адрес и поехала к ней домой.

Ларискин дом был девятиэтажный, стоял возле искусственных прудов.

Дверь отворила Лариска.

Она была красива, но иначе, чем прежде. Время подействовало на нас по-разному: Лариска раздалась в плечах и в бедрах, а я, наоборот, съжилась, как говорят мои родители, удачно мумифицировалась.

Мы узнали друг друга в ту же секунду и не могли двинуться с места. Я стояла по одну сторону порога, Лариска – по другую, обе парализованные, с вытаращенными глазами, как будто нас опустили в ледяную воду.

Потом Лариска перевела дух и сказала:

– Ну, ты даешь!

Я тоже очнулась, вошла в прихожую, сняла шубу. И все вдруг стало легко и обыденно, как будто мы расстались только вчера или даже сегодня утром.

В прихожую вышла девочка лет восьми, беленькая, очаровательная.

– Это моя дочь. А это тетя Кира, – представила нас Лариска.

– Тетя Кира, вы очень модная! – сказала мне девочка и обратилась к матери: – Дай мне рубль!

– Зачем?

– Я должна сходить в галантерею, у нашей учительницы завтра праздник.

– Сделаешь уроки, потом пойдешь! – распорядилась Лариска.

Средняя дочь была в детском саду, или, как выразилась Лариска, ушла на работу.

Младшая девочка спала на балконе, ей было пять месяцев. Лариска сказала, что вчера она научилась смеяться и целый день смеялась, а сегодня целый день спит, отдыхает от познанной эмоции.

– Еще будешь рожать? – спросила я.

– Мальчишку хочется, – неопределенно сказала Лариска.

– А зачем так много?

– Из любопытства. Интересно в рожу заглянуть, какой получится.

– Дети – это надолго, – сказала я. – Всю жизнь будешь им в рожу заглядывать, больше ничего и не увидишь.

– А чего я не увижу? Гонолулу? Так я ее по телевизору посмотрю. В передаче «Клуб кинопутешествий».

– А костер любви? – спросила я.

– Я посажу вокруг него своих детей.

Лариска достала вино в красивой оплетенной бутылке, поставила на стол пельмени, которые она сама приготовила из трех сортов мяса. Пельмени были очень вкусные и красивые.

- Все деньги на еду уходят, – сказала Лариска. – Мой муж сто килограммов весит...
- Такой толстый?
- У него рост – метр девяносто шесть, так что килограммы не особенно видны. Вообще, конечно, здоровый... – созналась Лариска.
- А чем он занимается?
- Думаешь, я знаю?
- Лариска разлила вино.
- За что выпьем? – Она посмотрела на меня весело и твердо.
- За Игнатия!
- Да ну...
- Что значит «да ну»? Собиралась плыть до него, как до Турции.
- Ну и доплыла бы, и что бы было? – Лариска поставила на меня свои глаза.
- Вошла девочка с тетрадь.
- У меня «у» не соединяется, – сказала она.
- Лариска взяла у нее тетрадь.
- Ты следующую букву подвинь поближе.
- Девочка смотрела на меня.
- Да куда ты смотришь? Сюда смотри! Видишь, хвостик от «у»? Он должен утыкаться прямо в бок следующей букве. Поняла?
- Девочка взяла тетрадку и кокетливо зашагала из комнаты.
- Гонорскую помнишь? – спросила я. – Вышла замуж за Игнатия.
- Лариска опять поставила на меня свои глаза и держала их долго – дольше, чем возможно.
- Потом выпила полстакана залпом, будто запила лекарство, и пошла из комнаты.
- А ты почему развелась? – крикнула Лариска.
- Профессия развела! – крикнула я. – Я ведь все время играю, на семью времени не остается.
- Разве нельзя и то и это?
- Может, можно, но у меня не получается.
- Ну и дура! – сказала Лариска, возвратившись с кофе. – Подумаешь: Франция, Америка... А заболешь – стакан воды подать некому.
- Это да... – согласилась я.
- Французы послушают твой концерт, похлопают и разойдутся каждый к себе домой. А ты – в пустую гостиницу. Очень интересно!
- Лариска села к столу и снова разлила вино по стаканам.
- За что?
- За рараку! – сказала я.
- Вошла девочка, протянула Лариске тетрадку.
- Я тебе покажу галантерею! – заорала Лариска напряженным басом. – Только об этом и думаешь! Никуда не пойдешь!
- Она хлестнула девочку тетрадкой по уху, смяв тетрадь. Девочка втянула голову, дрожала ресницами и не отрываясь смотрела на меня. Ей было тяжело терпеть унижение при посторонних.
- На балконе проснулся и закричал ребенок, не то засмеялся, не то заплакал.
- Я пойду, – сказала я и встала.
- Лариска отшвырнула старшую дочку и вышла со мной в прихожую. Два красных пятна расцвели на ее щеках.
- Будешь за границей, привези мне парик, – попросила Лариска. – Причесаться некогда с этими паразитами!
- Больше мы не виделись.

Через восемь месяцев я уехала в Австралию.

В Австралии все было абсолютно так же, как и в других странах: сцена – моя рабочая площадка. Приподнятые лица. Преобладающие цвета – черно-белые. Хрустальная люстра, сверкающая всеми огнями, существующими в спектре.

Я сначала все это вижу, потом не вижу. Сосредоточиваюсь на клавишах и жду, когда во мгле моего подсознания золотой точкой вспыхнет рарака и я разожгу от нее свой костер. Потом я обливаюсь керосином и встаю в этот костер, чтобы он горел выше и ярче. А незнакомые люди с приподнятыми лицами сидят и греются возле моего костра, притихшие и принаряженные, как дети.

Австралийцы долго хлопали. Я долго кланялась.

А дальше все было так, как предсказывала Лариска: австралийцы встали и разошлись по домам. А я поехала в гостиницу и легла спать.

Хорошая слышимость

На Метростроевской улице выстроили кооперативный дом. Дом строился долго, года три или четыре, за это время в нем сменилось два председателя. Один ушел сам, надоело быть выразителем частнособственнических интересов, а другого сместило правление за то, что использовал служебное положение в личных целях.

Тем не менее дом был построен и заселен, и на первом этаже возле лифта был посажен сторож дядя Сережа, который дежурил попеременно со своей женой.

Кооператив назывался «Художник-график», но жили в нем не только художники, а представители самых разнообразных специальностей. Лучше других дядя Сережа знал фотографа Максимова, потому что к нему ходило очень много женщин. Максимов пользовался у них громадным успехом, так как был холост, некрасив и казался легкой добычей.

Вкус у Максимова был самый разнообразный. Когда в лифт входила молодая женщина и возносилась вверх, дядя Сережа прижимался животом к решетке, открыв от напряжения рот, ждал, на каком этаже остановится лифт. Убедившись, что кабина стала на седьмом этаже, дядя Сережа удовлетворенно кричал и отходил. За все время он не ошибся ни разу.

Иногда с шестого этажа спускалась девяностошестилетняя старуха со странной фамилией Бекш. Бекш устанавливала свой раскладной стульчик, садилась возле парадного, дышала воздухом. Улица против дома шла на подъем, и машины в этом месте ревели моторами, фыркали выхлопными газами. Кто-то норовил перебежать дорогу. Бекш смотрела на все это остановившимися стеклянными глазами, замечала то, что в обычном здоровье никогда и не заметишь.

Когда с улицы появлялась молодая Нина Демидова с бульдогом Борькой на поводке, дядя Сережа оживлялся и весело кричал:

– А у нас все дома!

Это была шутка, смысл которой заключался в том, что, дескать, Нина в этом доме не живет.

Нина смеялась и спрашивала:

– Дядя Сережа, пойдешь за меня замуж?

Это тоже была шутка. У дяди Сережи уже была жена.

Дяде Сереже хотелось побыть подольше возле Нины, и в знак особого расположения, а заодно чтобы скоротать время, он сопровождал ее на седьмой этаж. Ехали, как правило, молча. Мелькали этажи. Потом лифт останавливался, дядя Сережа распахивал железную дверь, выпускал Нину и Борьку на седьмой этаж.

На седьмом этаже, так же, как и на других, было четыре квартиры. Там жили: пианистка Маша Полонская с семьей, экс-председатель Волков с женой Ритой и сыном Славиком, Максимов без семьи и художница Нина Демидова, тоже без семьи.

В дверь экс-председателя Волкова было врезано семь замков, причем каждый был изготовлен по специальному заказу и содержал в себе какой-нибудь секрет. Попасть в квартиру Волкова было так же сложно, как в сейф.

У Полонских на дверях висела медная табличка под старину. На ней каллиграфическим почерком сообщалась фамилия хозяина, его имя и отчество.

На двери Максимова не было ни таблички, ни замков, зато был врезан оптический глазок, чтобы можно было посмотреть из квартиры, кто к тебе пришел. Такие оптические глазки, говорят, врезают в дверь популярные киноартисты, потому что к ним ходит очень много народу, и преимущественно без приглашения.

Дверь у Нины Демидовой была нормальная, без таблички и без оптического глазка, но очень грязная. Она никак не могла собраться купить электрический звонок, и все, кто к ней приходил, стучали в дверь ногами.

Двери на седьмом этаже были в чем-то одинаковые: обитые дерматином под муар, с металлическими кнопками по краям, а в чем-то совершенно разнообразные. И хозяева были похожи на свои двери: в чем-то одинаковые, а в чем-то совершенно разнообразные.

Полонские. Есть поговорка: в каждой избушке свои погремушки. Под избушкой имеется в виду квартира, а под погремушками – неприятности. Если перевести поговорку на современный язык, получается: в каждой квартире свои неприятности. В квартире Полонских никаких неприятностей не было.

Маша – красивая блондинка, с высокой шеей, маленькой птичьей головкой и осмысленной талией. Замечательная пианистка.

Юра – рослый брүнет, огромный и широкоплечий, похожий на белого негра. Интеллектуальный спортсмен. Оба были здоровые и талантливые, у них рос ребенок – тоже здоровый и талантливый, но рос он не с ними, а у Машиных родителей, так что все сложности и неудобства воспитания доставались родителям, а Маше и Юре доставался результат. И как-то так вышло, что все радости в этой жизни они получали легко и даром.

Максимов. Хотел жениться и искал себе жену. К будущей жене он предъявлял следующие требования:

1. Чтобы она была молодая, красивая и знаменитая, например чемпионка по фигурному катанию или диктор Центрального телевидения. Чтобы на улице все узнавали ее и оборачивались.

2. Чтобы она была замечательная хозяйка, экономная и изобретательная. Могла прожить неделю на три рубля.

3. Чтобы имела идеальный характер и, когда Максимов бы напивался в гостях, тащила бы его домой молча, не ругаясь.

4. А когда бы она ему надоела, мог бросить ее на год или два и уехать, а она бы в это время верно ждала его и не обижалась.

До сих пор такой жены Максимов не нашел и пребывал в постоянном состоянии поиска.

Волков. Экс-председатель, тот самый, который использовал служебное положение в личных целях. Во время строительства дома он подвинул свою стенку вправо, отчего его комната стала на 10 сантиметров шире, а у Максимова – на 10 сантиметров уже. Возможно, Максиму это не нравилось, но Волкова его мнение не интересовало. Поговаривали, что Волков настлал у себя паркет без изоляционной прокладки, так что потолок у него получился на пять сантиметров выше, чем в других квартирах.

Есть люди, которые все гребут к себе, а есть люди, которые все гребут от себя. Волков греб к себе.

Нина Демидова была художник-график, оформляла детские книги. Она очень любила детей и старалась получше для них рисовать. Дети – существа благодарные, но эта благодарность не возвращалась к Нине, потому что дети никогда не запоминают фамилию художника.

У Нины жил бульдог Борька, но принадлежал он не ей, а ее хорошим знакомым. Хорошие знакомые уехали на три года за границу, а собаку не взяли, оставили Нине. Через три года они обещали вернуться и забрать ее обратно.

Три года назад, когда дом только еще начинал строиться, у Нины был муж. Они жили на стипендию, снимали проходную комнату возле Белорусского вокзала, вместе преодолевали трудности. А когда дом был построен и трудности оказались позади, муж ушел к новой жене, к новым трудностям. Иногда он звонил по телефону, но уже как чужой муж. У Нины вообще все было чужое: дети, собаки, и даже квартира была записана не на нее.

Соседи превосходно сосуществовали, забегали друг к другу за солью, за спичками и затем, чтобы поговорить о странностях любви.

Случалось, к Нине заходила старуха Бекш, присаживалась на краешке стула и вспоминала своего покойного мужа, с которым она познакомилась в Цюрихе.

– Ваш муж был немец? – удивлялась Нина.

– Нет. Киевский мещанин.

– Зачем было ехать в Цюрих, чтобы познакомиться там с киевским мещанином? Вы могли бы познакомиться с ним в Киеве...

– Конечно, – соглашалась Бекш. – Мы могли бы познакомиться с ним в Киеве, но мы познакомились в Цюрихе.

Маша Полонская приходила к Нине каждый день, а Волков не заходил никогда, боялся бульдога Борьки.

Максимов прибежал и спрашивал: «Не могли бы вы мне одолжить ложечку сливочного или любого другого масла?» Или: «У вас не найдется в долг три, а лучше пять рублей?»

Нина всегда давала ему в долг и деньги, и масло и при этом видела, что Максимов немолод, лет сорока шести, и ему хочется простых библейских радостей: с детьми, обедами, скучными уютными семейными вечерами. А любви, на которую он обречен, ему уже не хочется.

Все было мирно между соседями до тех пор, пока Маша Полонская не купила в комиссионном магазине рояль фирмы «Беккер». В лифт он не помещался, и рабочие на плечах волокли его на седьмой этаж.

Это было не какое-нибудь современное пианино фирмы «Лира» или «Латвия». Это был старинный инструмент из выдержанного дерева, служивший, возможно, самому Михаилу Ивановичу Глинке.

Звук у рояля был глубокий, сочный, клавиши чуть тугие, что позволяло развивать технику. Маша преодолевала сопротивление клавиш, и звуки, летящие из-под ее пальцев, отзывались в ней весной. Такое чувство бывает, когда в апреле ешь первые огурцы.

Что касается Нины Демидовой, то у нее было совершенно другое чувство. Музыка за стеной доносилась с такой явственностью, будто кто-то включил радио. Слышна была каждая нота, каждая музыкальная фраза.

Детские крики за окном, шум машин – неорганизованные звуки улицы – ее, как правило, не отвлекали. Но Чайковский вырывал ее из необходимого рабочего состояния.

Нина затыкала уши ватой, потом повязывала голову махровой простыней, но все время ловила себя на том, что прислушивается, не могла сосредоточиться и падала духом.

Нина была человеком добрым и доброжелательным, но в такие минуты тихо желала, чтобы случилось что-нибудь в доме Полонских, в их накатанном благополучии. Например, сломала бы Маша правую руку и два года не подходила к инструменту. Или: посадили бы Юру в тюрьму, а Маша, как жена декабриста, последовала бы за ним в Сибирь. Или просто: поменялись бы Полонские на большую площадь и переехали из этого района в другой.

К Маше по утрам приходил певец из Москонцерта. «Ты вздыхаешь, ты молчишь и плачешь. И слова любви в устах твоих немеют...» – пел Машин певец.

«В устах твоих немеют», – поправляла Маша мелодическую неточность.

Нина сидела с обвязанной головой, слушала переплетение двух сильных красивых голосов, и ей казалось, что лучшее в жизни обходит ее стороной, и она немножко завидовала Маше, которая умеет приспособить не себя к жизни, а жизнь к себе.

Максимову «Беккер» не мешал. Он проявлял пленки, печатал карточки, для этой работы ему не обязательны были ни вдохновение, ни особое состояние.

С Волковым же дело обстояло самым трагическим образом. Он был художник-плакатист, работал дома и по несколько раз в день ходил к Маше выяснять отношения. То, о чем Нина

Демидова тайно мечтала в тиши ночей, Волков обещал реально: обломать руки, посадить в тюрьму и даже обговаривал реальные сроки.

К обещаниям Волкова Маша отнеслась с юмором и продолжала играть – одна и с певцом. Поэтому в одно прекрасное солнечное утро к ней пришла повестка из районного суда, в которой сообщалось, что Маша должна явиться в суд такого-то числа по такому-то адресу. В случае неявки было обещано привести ее под конвоем.

– Ты знаешь? – Маша протянула Нине повестку. Лицо у Маши было растерянное.

– Знаю. – Нина знала о предстоящем суде и ждала его, как соловей лета.

– Я хочу попросить тебя пойти на суд. В свидетели...

– Зачем?

– Ты скажешь, что я тебе не мешаю. А то меня выселят.

– Я не могу быть твоим свидетелем, – отказалась Нина.

– Почему? – Маша подняла высокие брови.

– Потому что ты мне мешаешь. Не даешь работать. Говорить об этом на суде я не буду, поэтому я лучше не пойду. Обойдись без меня.

Маша помолчала, ее глаза наполнились слезами. Она повернулась и пошла, мелко ступая, как балерина.

В этот день она больше не играла на своем рояле, может быть, боялась тревожить соседей накануне суда, а может, просто была расстроена предательством Нины, предстоящим судом и неопределенностью положения в собственном доме.

Нина могла бы воспользоваться тишиной и работать, но ей тоже не работалось. Лежала на диване, смотрела в потолок и думала о том, что, отказываясь быть Машиным свидетелем, невольно поддерживает Волкова, который отрицательно заряжен и не прав в принципе всем своим существованием. Думала о том, что умеет быть широкой до тех пор, пока это не задевает ее интересов. А если так, то какая разница между ней и Волковым.

Бульдог Борька, чувствуя своим тонким организмом настроение Нины, томился, шумно, меланхолично вздыхал и слонялся из угла в угол, клацая когтями по паркету.

Суд был назначен на десять часов утра, но судья запаздывал, и члены жилищно-строительного кооператива «Художник-график» сидели в коридоре на деревянной скамейке. Ждали.

Свидетелем Маши была Нина Демидова. Она должна была сказать, что музыка за стеной ей не мешает, а, наоборот, вдохновляет и облагораживает.

Свидетелем Волкова был Максимов. Он должен был заявить, что рояль ему мешает, лишает необходимого одиночества.

Помимо Максимова Волков привел жену Риту и сына Славика, которые тоже страдали от шумного соседства и готовились предстать перед судом вещественным доказательством, живым укором.

Полы в суде были дощатые, скамейки деревянные. Все крашено чем-то бежеватым, тусклым. Люди ходили сумрачные, сосредоточенные, и Нина, не умеющая переносить обстановку судов, больниц – обстановку несчастий и зависимости, – мечтала, чтобы все скорее кончилось и она ушла домой.

Максимов сидел на лавке, ел плавленый сырок. Не успел позавтракать дома. Вид у него был сконфуженный, вероятно, от предстоящего лжесвидетельства. Почему он на него пошел, было не ясно, скорее всего Волков пообещал ему три, а лучше пять рублей и подарил плавленый сырок.

Группа Волкова держалась особняком. Когда Славик подошел к Нине, Волков резко оттащил его, хотя между Ниной и Славиком никаких противоречий не было.

Нина иногда поглядывала на Волкова, как бы спрашивая глазами его шансы на успех. Ей очень хотелось, чтобы Волков выиграл процесс, тогда она сохранила бы свой моральный облик и получила возможность работать по утрам.

Наконец появился судья. Все прошли в зал. Судья сел на стул с высокой спинкой, а по обе стороны от него – народные заседатели, две немолодые женщины.

Перед судейским столом в первом ряду расположились обе конфликтные стороны: слева Волков с семьей и Максимов, справа – Маша и сопровождающие ее лица, Нина и муж Юра. Юра заметно нервничал: обычно он, как правило, острил, разговаривал фразами из популярных песен и из популярных анекдотов. А тут ни разу не вспомнил ни одной песни и ни одного анекдота, глаза его казались белыми на красном, будто распаренном лице.

На задних рядах расселись случайные зрители, преимущественно старухи-пенсионерки, любители открытых судов. Им было интересно и не совсем понятно, о чем зашпорила творческая интеллигенция.

Первым взял слово истец, то есть Волков. Он поднялся со стула, держа шапку в опущенной руке, и, багровея ушами, стал говорить о том, что на последние трудовые сбережения мечтал приобрести себе квартиру, а приобрел камеру пыток. Его нервы больше не выдерживают, и, если так все будет продолжаться, он покончит жизнь самоубийством, потому что другого выхода для себя не видит. Он уже купил наушники для водолазов, обил все стены и потолок сотами, в которых продают диетические яйца. От этого его комната стала на пять сантиметров ниже и на десять сантиметров уже, чем была. Но ничего не помогает.

– Поменяйтесь, – предложил судья.

– Почему это я должен меняться? Они виноваты, а я должен меняться...

Волков сказал это таким тоном, что всем стало ясно: он скорее покончит жизнь самоубийством, чем сдаст свои позиции.

Закончив выступление, Волков сел на место с видом неудовлетворенным и униженным, но не смирившимся. Его жена Рита сняла пальто, чтобы не было жарко, расстегнула курточку на Славике. Она сидела на стуле, широкая в плечах и в бедрах, с широким свежим лицом, и вид у нее был домашний и какой-то уютный.

– Понимаете, – говорила она смущенно, – только ребенка укачаешь, вдруг грохот, пение. Он подхватывается, плачет...

Славик рассеянно крутил светлой головкой, не подозревая, что речь идет о нем. Волков погладил ребенка по волосам, и чувствовалось, что сделал он это скорее для судьбы, чем из отеческих побуждений.

Потом выступил Максимов. Он любил внимание к себе масс, но в силу обстоятельств был лишен этого в своей жизни. Сейчас, получив на несколько минут аудиторию и внимание, засверкал всеми своими гранями. Он заявил, что надо соблюдать правила социалистического общежития. А так как дом – своего рода общежитие, и, безусловно, социалистическое, то этот принцип имеет прямое отношение ко всем его членам. И нечестно ставить рояль на голову трудящимся, а если человеку хочется поиграть, пусть идет в места общего пользования, садится на сцену и играет сколько вздумается.

Маша нервно двигала пальцами по колену, продолжая играть по привычке, превратившейся в безусловный рефлекс. На ней было кожаное пальто, сшитое по моде, но не по последней, а по той, которая еще будет. Маша предчувствовала моду. Из-под пальто глядели ноги в клетчатых брючках, на голове маленькая, как у жокея, клетчатая кепочка. Здесь в суде все это смотрелось немножко бестактно, но Маша была умна, хитра и умела все свои недостатки обратить в достоинства.

Она достала из сумки две бумаги. Одна – вырезка из газеты, где сообщалось о том, что Маша хорошая пианистка и ее деятельность необходима людям, так как прибавляет в их жизни красоты и осмысленности. Другая бумага – справка из Москонцерта, в ней указывалось, что

Москонцерт отдельного помещения для репетиций не предоставляет. От себя Маша добавила, что готова съехать с квартиры и поселиться в любой другой, но нет гарантии, что ее не выселят и оттуда, и тогда ей ничего больше не останется, как поселиться со своим «Беккером» под открытым небом, как в узбекском кинофильме «Белый рояль».

В своем выступлении Маша очень тонко и точно выдержала пропорции ума, такта, юмора, беззащитности и легкой безысходности. При этом она обожала глазами судью и народных заседателей, и те, в свою очередь, готовы были простить ей все, и даже если бы она совершила серьезное преступление, ее все равно оправдали бы или дали очень маленький срок.

Волков был примитивен в своем качании прав и неделикатной настырности. Он не учел такого серьезного фактора, как Л. О. – то есть личное обаяние.

Маша распространяла свое личное обаяние вместе с волнами духов «Шанель», и казалось, что она не обвиняемая и даже не свидетель, а так... И только по тому, как бегали по колену ее пальцы с профессионально коротко остриженными ногтями, можно было догадаться, что все-таки обвиняемая.

После Маши к судейскому столу вышла Нина.

– Вам мешают соседи? – спросил судья.

Глаза у него были грустные и круглые, как у бульдога Борьки. Нина посмотрела в эти знакомые глаза, и в носу у нее заломило. Ей вдруг стало жалко себя, не из-за рояля, а в принципе. Судья внимательно смотрел на нее, и Маша тоже смотрела, и Юра перестал крутить в руках свою замшевую кепку.

– Но ведь она не виновата, – тихо сказала Нина. Это был компромиссный ответ. В нем она и обвиняла Машу, и оправдывала ее: «Конечно же мешает, но она не виновата».

– А кто виноват? – спросил судья. Это был классический вопрос.

– Стены тонкие... – сказала Нина.

– Точно! – обрадовалась старуха из зала. Видно, сама запуталась в поисках истины.

– Подумаешь, рояль... – сказала тетка помоложе. – Вон у нас один знакомый из Африки приехал, крокодила привез. Он у него в ванне живет.

– Так крокодил же молчит, – вмешался Волков.

– Ага, молчит... Зато выйдет на лестничную площадку и сожрет кого-нибудь. Это же аллигатор!

Судья постучал кулаком по столу, прекращая прения. Расстановка сил была невыгодной для Волкова, он чувствовал это и с надеждой ждал выступления своего адвоката.

Выступил адвокат. Это была женщина лет семидесяти, по всей вероятности, на пенсии, подрабатывающая от случая к случаю.

– Каждый человек имеет право на отдых и на труд, – начала она. – Товарищ Волков лишен такого права и на отдых, и на труд...

Адвокат говорила очень медленно, сильно растягивая каждое слово, и могла бы говорить бесконечно, если бы ее не перебил судья.

Судье изрядно надоела эта история, в которой ему все давно было ясно. День только начинался, впереди было много других дел. Судья посоветовался с заседателями и объявил: «Иск Волкова о выселении Полонских оставить без удовлетворения. Обвиняемая играет на рояле не по ночам, а днем, не раньше шести утра и не позже одиннадцати вечера. Ее действия не могут быть рассмотрены как хулиганские, а если человек не хулиганит и не нарушает норм общественного поведения, выселить его никто не имеет права».

Далее судья вынес частное определение: Полонским купить толстый ковер и повесить его на стену.

Когда суд окончился, Рита заплакала. Увидев, что мать плачет, разревелся Славик.

Судья медленными движениями собирал бумаги и думал, возможно, о том, что стены тонкие, а люди не слышат друг друга. В суд ходят.

Маша поднялась и вышла из зала, прямо держа спину, мелко ступая, как балерина.

– Сейчас придешь домой и ляжешь спать, – сказал ей Юра. Он беспокоился о жене и хотел, чтобы она возместила сном нервную затрату.

Нина, Маша и Юра вышли из суда.

Надвигалась весна, снег лежал бежевый, хрупкий, ошетилившийся. Выступали обнажившиеся от снега бока земного шара. В глубине двора виднелась темная от дождей детская деревянная горка.

Юра остановил такси, все втроем уселись на заднее сиденье. Когда машина проехала несколько метров, Нина сказала:

– Слушай, давай договоримся...

– О чем? – спросила Маша.

– Я буду работать с семи до одиннадцати, а ты садись в одиннадцать. Не в десять, а в одиннадцать. Один час...

Маша не ответила, по-прежнему рассеянно глядя за стекло на пешеходов, которые шли пешком. Ей по ее режиму было удобно просыпаться в девять, а садиться за рояль в десять. А в одиннадцать ей было неудобно, потому что некуда девать дорогой утренний час.

Вечером Полонские пригласили Нину к себе на блины. К блинам подавалась красная рыба, белые грибы, сметана, земляничное варенье, пахнущее лесом. Водка была перелита в пузатый графинчик старинного зеленоватого простого стекла. В высоком хрустальном кувшине с широким горлом стоял рубиновый гранатовый сок. Стол был не загроможден, и от всего, даже от сочетания цветов на белой скатерти, веяло уютом, умением жить внимательно, со вниманием к каждой детали, чего совершенно не было в Нининой жизни. У нее в доме жил бульдог Борька, который линял по весне, и его шерсть лежала на всем. Однажды у Нины оставились часы, и часовщик спросил: «Откуда у вас в часах собачья шерсть?»

Юра поднял тост за выигранное дело, и все пили за выигранное дело, не переоценивая свою победу и отдавая ей ровно столько, сколько она заслуживала. Потом пили за дружбу, за друзей, за искусство, и все мало-помалу захмелели и вступили в состояние благостного понимания и проникновения. И Нина уже не помнила, что у нее отнята возможность работать, а все казалось славно и светло, и хотелось добра всем, даже Волкову.

Черный беккеровский рояль стоял величественный и равнодушный, тускло мерцая при свечах лакированным боком. Свечи – это не дань моде. Электрическая лампочка светит всем, а свеча – только тебе. И когда ты сидишь перед свечой, которая горит только тебе, хочется думать о чем-то высоком и подлинном, неизмеримо превышающем каждодневные человеческие помыслы. Хорошо вернуться к прошлому, и быть к нему снисходительным, и найти в нем то, что дает силы жить дальше.

Маша посмотрела на часы: было десять, до одиннадцати еще оставался целый час. Она села за рояль и запела польскую песню «Эвридики». В этой песне говорилось о том, что каждую ночь из туманной Вислы выходят Эвридики и танцуют до зари.

Нина представила себе этих танцующих Эвридик пятнадцатилетними девушками, почти детьми, с высокими шеями, большими глазами. Они прекрасны одним только своим существованием, и, для того чтобы быть любимыми, им не надо быть умными и оформлять детские книги.

В дверь позвонили. Маша сняла руки с клавиш. Все были уверены, что явился Волков, или Рита, или в крайнем случае послали Славика.

Но это был не Волков. По этажу ходил дядя Сережа и звонил в каждую дверь. В руках у него были кооперативные книжки, длинные, как блокноты, в мягких синих обложках. Все обитатели седьмого этажа вышли на лестничную площадку.

– Вот, – сказал дядя Сережа, раздавая книжки их владельцам. – На последней странице напишете: кому вы завещаете кооперативный пай.

– Как это «завещаете»? – не понял Юра.

– Кооперативная квартира – частная собственность, – объяснил дядя Сережа, заранее выучив на память сложную формулировку. – Так что, если помрете, надо предупредить, кому останется.

– А я, может, не собираюсь помирать, – вызывающе проговорил Волков, позабыв, что еще днем обещал покончить жизнь самоубийством.

Поражение на суде Волкова не обескуражило, он знал, что из каждой, даже проигранной ситуации можно найти выход и извлечь свою пользу. Из данной ситуации Волков собирался извлечь бесплатную мастерскую и надеялся получить ее вне очереди, как инвалид, пострадавший на «нравственном фронте».

– Ты, может, и не собираешься, – Максимов коротко, встревоженно глянул на Нину, – а вот выйдешь на улицу, на тебя сверху сосулька упадет, и «здрасьте, Константин Сергеич!» – Под Константином Сергеичем Максимов имел в виду Станиславского.

Максимов засмеялся своей шутке, приглашая глазами посмеяться остальных. Он хотел, чтобы Полонские и Нина забыли о суде, будто никакого суда и не было. Но соседи не засмеялись.

Дядя Сережа вручил кооперативные книжки седьмому этажу и пошел вниз на шестой. Ему предстояло обойти весь дом.

После ухода дяди Сережи веселье, затеянное Полонскими, было как-то смято. Все вдруг вспомнили, что придется когда-нибудь умирать, и в этой связи все победы и поражения показались преходящими.

Все попрощались и разошлись, каждый в свою квартиру, каждый за свою дверь.

Настала ночь. В небе над Метростроевской улицей остановилась полная луна. На ней были пятна, напоминающие глаза, нос, рот, и луна походила на рожицу, рисованную рукой ребенка из книжек Нины Демидовой.

Пираты в далеких морях

«Для технического проекта число единиц оборудования подсчитывают отдельно по номенклатуре и каждому типоразмеру...»

Я стал думать, как перевести на английский язык «типоразмер», но в это время в мою дверь позвонили.

Я отворил дверь и увидел соседку с девятого этажа по имени Тамара: Тамара сказала, что завтра в девять утра ей необходимо быть в больнице и чтобы я ее туда отвез.

Мне захотелось спросить: «А почему я?» С Тамарой мы живем в одном подъезде, но встречаемся крайне редко, примерно раз в месяц возле почтового ящика. У меня квартира номер 89, а у Тамары 98, и почтальон часто бросает мою корреспонденцию в Тамарин ящик. И наоборот. Это единственное, что нас связывает, и совершенно неясно – почему в больницу с Тамарой должен ехать я, а не ее муж.

– А почему я? – спросил я.

Тамара задумалась, обдумывая мой вопрос, потом подняла на меня глаза и спросила:

– Значит, не повезешь?

Я смутился. Я понял: если я сейчас скажу «нет», Тамара повернется и уйдет, а у меня будет нехорошо на душе и я не смогу работать. Как нервный человек, я услышу Тамарины претензии, я стану мысленно на них отвечать и пропущу время, в которое я засыпаю, а потом не смогу его догнать. Я начну гулко вздыхать и думать. Причем думать не впрок, например на завтра, а задним числом. Я продумаю уже произнесенные слова и уже совершенные поступки. На все это уйдет ночь, следующий день, выброшенный из работы, плюс полкилометра нервов. А на то, чтобы отвезти Тамару в больницу и вернуться, уйдет два часа. Два часа плюс ощущение нравственного комфорта.

– Пожалуйста, – сказал я. – Я отвезу.

– В восемь тридцать. Внизу, – уточнила Тамара и ушла.

Я совершенно не умею отказывать, если меня о чем-то просят. В медицине это называется: «гипертрофия обратной связи». Это значит: в общении с другим человеком я полностью ставлю себя на место партнера и забываю о своих интересах.

Очень может быть, что в моем роду какой-нибудь далекий предок был страшный хам. И моя деликатность – это как бы компенсация природе, действующей по закону высшего равновесия. Я плачу природе долг за своего предка.

Я лег спать и скоро заснул с ощущением нравственного комфорта. А Тамарин муж, должно быть, заснул возле толстой и красивой Тамары с ощущением нравственного дискомфорта и человеческой несостоятельности.

Больница находилась у черта на рогах.

Я притормозил машину возле вывески.

– Пойдем со мной! – велела Тамара.

– Я лучше тебя здесь подожду, – уклонился я. – Я боюсь.

– Значит, тебе страшно, а мне нет.

– А зачем ты сюда приехала? – спросил я.

– Мне надо исключить, – хмуро ответила Тамара.

– А в другом месте нельзя исключить?

– Здесь специалисты лучше.

Тамара вылезла из машины и пошла к каменной широкой лестнице. Я запер машину и поплелся следом за Тамарой, как Орфей за Эвридикой.

Мы вошли в вестибюль.

Тамара взяла в регистратуре какую-то карточку, потом села в какую-то очередь и посадила меня возле себя. Я хотел спросить: долго ли надо сидеть, но постеснялся такого житейского вопроса на таком, в сущности, трагическом фоне.

- Почему муж с тобой не поехал? – спросил я.
- А я и не хочу, чтобы он ехал. Я от него скрываю.
- Почему?
- Муж любит жену здоровую, брат – сестру богатую...
- Это если муж и брат – гады, – сказал я с убеждением.
- Почему гады? Нормальные люди. Это нормально.
- Если это нормально, то это ужасно...

Тамара промолчала.

Против меня у другой стены сидел старик. Старик громко шутил и сам смеялся своим шуткам. Его оживления никто не разделял. Люди были брошены в одиночество, как в океан, плыли в нем, хлебная волна, и не видели другого берега. Старик пытался демонстрировать силу духа. Ему не верили. Смотрели серьезно и осуждающе.

Я взял Тамару за руку. Она положила голову мне на плечо.

- Дура я, – сказала Тамара.
- Почему?
- Все свою диссертацию кропала. «Гальваномагнитный эффект в кристаллах германия».

Катя – двоюродница, у Левки – вторая жизнь. Я здесь. Вот тебе и эффект...

- Но человек должен куда-то стремиться.
- Ты правильно живешь. Никуда не лезешь. Вот ты и здоров.
- Почему не лезу? – обиделся я. – Я – переводчик первой категории.

Тамара хмыкнула. Ход ее мыслей был таков: технические переводчики переводят информацию с одного языка на другой. А сумма знаний остается прежней. Она же, Тамара, создает новую сумму знаний, и, значит, ее жизнь объективно дороже, чем моя. Однако моей бесполезной жизни ничто не угрожает и так далее...

– Ты тоже здорова, – сказал я. – Посмотри на себя в зеркало. Вот исключишь, и пойдем домой. Можем даже бутылку выпить.

– Ты понимаешь, Дима... эта наука – она застит весь свет. Ведь по-настоящему больше ни о чем не думаешь. Ничего не видишь. Утром вскочишь, съешь, что под руку подвернется, – и бежать. Вечером примчишься, перехватишь, чтобы с голоду не помереть, – и за машинку. Ешь, только чтобы загрузить в себя топливо. Ходишь, только чтобы перемещать себя во времени и пространстве. А все мысли там... Как у Мцыри, помнишь? «Я знал одной лишь думы власть, – одну, но пламенную страсть: она, как червь, во мне жила, изгрызла душу и сожгла...»

– Только так и можно что-то сделать, – сказал я. – Это же счастье.

– Может быть. Но как мы себя обворовываем... Ведь можно утром встать и – «Здравствуй, утро!» Борщ сварить, чтобы капуста хрустела. Настоящий борщ – это же симфония! Вечером придет муж: «Здравствуй, муж!» Э... Да что там. Жжем себя во имя ложной цели. А понимаешь, когда уже...

Тамара закрыла глаза и прислонилась затылком к стене.

Веселый старик встал и пошел в кабинет. Следующая очередь была наша.

В углу по диагонали сидела влюбленная пара: старик и старуха. Постаревшие Татьяна Ларина и Евгений Онегин. Но у них все было без сложностей: Татьяна написала Евгению письмо: «Я к вам пишу...» Евгений получил его, приехал и, вместо отповеди, сделал предложение. Ведь бывает и так. А теперь он заболел, а она сидела рядом и была по-своему счастлива оттого, что душа имеет приют даже в горе. А он чувствовал себя немножко виноватым за то, что сосредоточивает на себе внимание и отбирает покой у любимого человека. На шее у

него висел полосатый пижонский шарф, Евгений и в 70 лет оставался верен себе. Они сидели рядышком, сплетя руки. Я подумал: «Здесь все будет хорошо. Через страдания к радости».

– А вы откуда приехали? – спросила молодая женщина, сидящая через Тамару. Ее губы были накрашены в шесть слоев.

Тамара не ответила. Ей не хотелось общения. А женщине, наоборот, очень хотелось поговорить, но было не с кем.

– А я из Донецка. Вы знаете, этот институт самый лучший в Союзе и даже в мире, сюда очень трудно попасть. Вы по блату?

– Нет, – сказал я. – Законным путем.

– А у вас из-за чего?

Тамаре была неприятна моя общительность, но я не могу не отвечать, когда ко мне обращаются и на меня смотрят.

– А у меня из-за вредного производства, – сказала женщина.

– Надо уйти с производства, – посоветовал я.

– Почему? – искренне удивилась женщина. – Другие же работают. Что, я лучше их?

– Но вы же заболели...

– Ну и что? Они все тоже заболели, – она окинула глазами зал. – Что я, лучше их?

Меня озадачила философия: «как все». Я внимательно смотрел в лицо женщины. В это время подошла Тамарина очередь.

– Пойдем со мной! – Она схватила меня холодной рукой и повела в кабинет.

Молодой серьезный врач что-то писал в истории болезни. Молоденькая медсестра грекала никелированными приборами.

Врач поднял на нас глаза.

– У нее в носу метастаз, – сказал я.

– Сейчас проверим, – пообещал врач.

– Ой! Хоть один веселый больной, – обрадовалась медсестра. – А то все ходят... Э...

э... – Она сделала мину, показала, как все ходят.

Медсестре надоело подавленное настроение пациентов, в которое ей приходилось погружать свой день.

Тамара села на стул.

Я вышел из кабинета и вернулся на прежнее место.

– А я, например, и не собираюсь падать духом, – сказала женщина из Донецка. – Я с мамы пример собираюсь брать. У меня знаете какая мама?

Я смотрел, внимая.

– Она во время войны партизанам хлеб давала, так немцы ее дом сожгли с двумя детьми маленькими. А в самом конце войны она на мину наступила, ей ногу оторвало. Так она в сорок шестом году без ноги замуж вышла и меня родила. А сейчас, когда со мной такое случилось, она сюда в Москву приехала меня морально поддерживать. Я сейчас в Третьяковскую галерею пойду... Когда еще теперь в Москву попаду...

Из кабинета вышла медсестра, стала искать кого-то глазами. Увидела веселого старика и пошла к нему.

– Надо еще немного полечиться, – сказала она, подходя.

Старик поднялся ей навстречу. Глаза его напряглись, и лицо полностью перестало быть прежним. Такие напряженные и бессмысленные лица бывают у штангистов, когда они держат над головой непомерную тяжесть. Я не знал, что страх имеет такое же выражение.

Я подошел к кабинету, заглянул в него.

– Кто вас направил? – спрашивал врач у Тамары.

– Районная поликлиника.

– Делать им там нечего! Как будто у нас работы мало... Безобразия, в сущности...

Тамара смотрела на врача влюбленным взором, и чем больше он возмущался, тем сильнее ей нравился.

А врача, видимо, искренне раздражала Тамара, ее пустяковая болезнь, ее груди и живот, похожие на три подушки.

Тамара чмокнула врача в щеку, чего он совершенно не желал, и выскочила в коридор. Схватила меня за руку, и мы помчались в сторону гардероба. Женщина из Донецка проводила нас глазами. Я улыбнулся ей виновато. Я был виноват в том, что уходил, а она оставалась.

Мы оделись и вышли на улицу. Тамара достала два апельсина. Один – мне, другой – себе. Я стал сдирать кожуру зубами, и мой рот наполнился душистой горечью.

День был пасмурный, но сочетание неба и снега на крыше – прекрасно по цвету.

– Здравствуй, день! – крикнул я.

– Ты чего орешь? – удивилась Тамара. – Встал и орет. Едем!

Мы сели в машину.

– К спекулянтке! – велела Тамара. – На улицу Вавилова.

Обретя здоровье, ей захотелось красоты.

Я привез Тамару на улицу Вавилова. Здесь она меня с собой не позвала.

Тамара отсутствовала час или полтора, потом явилась с какой-то конструкцией на ногах, напоминающей каторжные колодки периода Смутного времени. Не хватало только звенящих волочащихся цепей.

Тамара села в машину. Оглядела свое приобретение.

– Что это? – спросил я.

– Колотырки. Как корова на копытах, – определила Тамара.

– Удобно?

– Ну что ты...

– А зачем купила?

– А черт его знает... Модно...

– Сколько? – спросил я.

– Не могу сказать. Стыдно. Совестно вслух произнести.

– Зачем ты поддерживаешь рублем недостойные элементы нашего общества? Это безнравственно.

– Ты шутишь. А ведь это так.

– Я не шучу.

– Ты себе не представляешь: она со мной так разговаривает и держится, как будто это я спекулянтка, а она ученый-физик. Я всю жизнь робею перед нахалами.

Я вывел машину из переулка. Выехал на главную улицу.

По тротуару, полоща юбкой, шла цыганка с цыганенком на руках. На ногах у нее были фетровые боты, на плечах – плюшевая рвань. Но взгляд ее был устремлен куда-то сквозь людей и, как казалось, был объят высоким гордым помыслом.

– Как бы я хотела когда-нибудь пройти вот так... – задумчиво сказала Тамара. – Ни от чего не зависеть: ни от жилья, ни от людей.

– Хиппуй! – предложил я. – Хиппи – интеллигентные цыгане.

– Ну да... – не согласилась Тамара. – В моем-то возрасте. Хиппуют с пятнадцати до двадцати пяти.

– А тебе сколько? – спросил я.

– А ты как думаешь?

– Шестнадцать.

– Правильно, – согласилась Тамара. – Мне всегда будет шестнадцать. Шестнадцать плюс старость. Шестнадцать плюс смерть. В библиотеку!

– Зачем?

- Мне надо материал собрать.
- Ты же собиралась борщ варить, как симфония.
- Борщ сожрут и спасибо не скажут. А мысли останутся. Какой-нибудь тощенький студент лет через сто придет в библиотеку, отыщет мою брошюрку. Изучит. Скажет: «Спасибо, Тамара!» И спасет человечество.
- Почему через сто?
- Может быть, и через год. Придет, а книжки нет. Поехали!

«Для технического проекта число единиц оборудования подсчитывают отдельно по номенклатуре и каждому типоразмеру...»

Я стал думать, как перевести на английский язык «номенклатуру» и «типоразмер». В это время раздался телефонный звонок. Мужской голос сказал, что он разводится с женой и чтобы я помог ему перевезти книги. Я спросил:

– А кто это говорит?

Голос сказал:

– Володя.

Я не знал ни одного Володи и спросил:

– Какой Володя?

Голос сказал, что это – мой брат.

У меня действительно есть троюродный брат Володя, но мы разговариваем по телефону раз в семь лет, и я успеваю отвыкнуть от его голоса. В детстве его имя сократили: не «Вова», а «Лодя», и я не могу представить его под другим именем.

– Лодя? – спросил я.

– Ну да, – недовольно отозвался Лодя. Он терпеть не мог этой клички.

Однажды, в том же далеком детстве, мой папа подарил ему чашку с надписью: «Дорогому Лодуське от дяди Юры». Лодя тут же грохнул чашку об пол, за что был побит родителями, не больно, но унижительно.

– Ты не мог бы за мной приехать? – спросил Лодя.

– Я работаю, – сказал я.

Я действительно работаю. У меня задолженность в редакции двадцать четыре листа, что составляет полгода работы. Если сидеть с утра до ночи, не отвлекаясь на сон и на обед, я могу погасить задолженность за полтора месяца. Но для этого необходимо, чтобы меня никто не отвлекал. Однако я не женат, живу вне обязательств, работаю дома, и моим временем распоряжаются по собственному усмотрению.

– Я развожусь, – сказал Лодя. – Мне нужна поддержка.

Когда-то у Лоди была свадьба, но на свадьбу он меня не позвал. Ему это даже в голову не пришло, поскольку родственник я дальний, а народу и без того много.

– Я очень занят, – сказал я.

– Ну неужели ты не можешь отвлечься на полтора часа?

Когда-то мы были маленькие и встречались на днях рождения. Сейчас мы выросли и практически не видимся, за исключением тех случаев, когда кто-то умирает. Когда кто-нибудь умирает – все собираются и узнают друг о друге все новости, тихо, заинтересованно переговариваясь, как ученики во время контрольной. А родственники усопшего строго оглядываются, одергивают глазами.

Я, конечно, мог бы отказать Лоде. Но в отказе я усматриваю предательство детства и общих корней. Ведь я родился не сам по себе. До меня был мой папа, двоюродный брат Лодино папы. Был мой дед, родной брат Лодиного деда. И общий прадед. В сущности, мы из одного древа. Но сегодня духовные и деловые связи сближают людей больше, чем кровные. И

люди живут так, будто они родились не от древа, а сами по себе. И это в конце концов мстит одиночеством.

– Ладно, – сказал я. – Приеду.

– Дом с желтыми лоджиями, – напомнил Лодя. – Я буду стоять внизу.

Я подъехал с Ломоносовского проспекта и остановил машину против дома с желтыми лоджиями.

Лодя не было и близко.

Я выключил мотор. Взял с заднего сиденья папку с рукописями и стал работать, пристроив папку на колено.

...«Типоразмер» можно перевести как два слова – «тип» и «размер». А можно найти третье, которое по смыслу определяло бы «типоразмер». Я стал искать синоним.

За время работы в издательстве я перевел много разнообразных книг: о том, как перевозить бруснику (мы экспортируем бруснику в Италию), как содержать крупный рогатый скот.

Благодаря переводам я осведомлен во многих областях промышленности и сельского хозяйства и могу быть интересным собеседником. Но никто не говорит со мной ни о бруснике, ни о числе единиц оборудования. Всем хочется говорить о странностях любви, а в этом вопросе я вторичен и банален и похож на чеховского Ипполитыча, который утверждает, что Волга впадает в Каспийское море и что спать надо ночью, а не днем.

Мои переводы уходят за границу, и я никогда не встречал ни одного своего читателя. Приехал бы какой-нибудь слаборазвитый капиталист, позвонил мне домой и спросил:

– Это мистер Мазаев?

– Я.

– Спасибо, Мазаев.

– Пожалуйста, – сказал бы я.

И это все, о чем я мечтаю.

Лодя, однако, не появлялся, хотя мы договорились, что он будет ждать меня внизу с узлом или с узлами, в зависимости от того, как они переделают имущество.

Мне надоело сидеть. Я поднялся на четвертый этаж и позвонил в дверь.

Отворила жена брата. Она была бледная, лохматая, охваченная стихией отрицательной страсти.

– Скажи ему... – закричала она мне в лицо, не здороваясь. – Скажи ему, пусть он не забирает у меня дачу. Когда я ее заработаю... Я женщина! У нас ребенок!

Я вошел в комнату. Лодя стоял у окна ко мне спиной, сунув кулаки в карманы. Он был толстый. И в детстве тоже был толстый, с пухлым ртом.

– Отдай ей дачу, – сказал я. – Ты же не будешь там жить.

– Я туда носа не покажу! Я вообще эту дачу ненавижу! Я ее сожгу, но ей не отдам! Сожгу, а не отдам!

Лодя вытащил из кармана один кулак и потряс им над головой.

Я никогда его не видел таким. Лодя был флегма, и мне всегда казалось, что общая температура тела у него 34 градуса, как у медведя в спячке.

– Почему? – спросил я.

– Потому что она профурсетка.

Я пошел на кухню и, пока шел, искал синоним слову «типоразмер». Жена брата стояла посреди кухни и ждала результата переговоров.

– Он не отдает, – сказал я. – Он говорит, что ты профурсетка.

Жена брата посмотрела на меня глазами, сверкающими от слез. Ее лицо было красивым, одухотворенным от гнева.

– Митя... – тихо сказала она. – Вот ты послушай, что было: мы собирались в гости, он сказал: «Не крась губы, тебе не идет...» А я накрутила, потому что сейчас такая мода.

– Но если тебе не идет...

– Но если такая мода...

Я пошел к брату.

– Она накрутила губы, что тут особенного? – спросил я.

– Дело же не в том, накрутила она их или нет. Дело в том, что она превыше всего любит себя и свои удовольствия! А на меня ей плевать с высокой колокольни! Даже если я завтра попаду под трамвай, она вечером пойдет в кино и будет говорить знакомым, что ей очень тяжело и надо было отвлечься. Это страшный человек, Митя! Ты ее не знаешь! Это – чемпион эгоизма!

Я постоял и пошел на кухню. Квартира была старая, довоенной постройки, коридоры длинные. Я устал ходить туда и обратно.

– Он говорит, что ты чемпион эгоизма, – сказал я жене брата.

– Просто я ему надоела, и ему надо к чему-то придраться. – На ее глазах заблестели слезы. – Я все бросила ради него. Он сломал мою жизнь.

Я вздохнул и пошел в комнату.

– Она ради тебя все бросила. Нехорошо.

– А что у нее было, чтобы жалко было бросить? Это я бросил больных родителей! Будь проклят день, когда я ее встретил. Господи! – Лодя прижал руку к сердцу и поднял глаза к потолку, как святой Себастьян. – Если бы можно было проснуться и ничего не было. Сон. Если бы можно было вернуться туда, в пять лет назад, я за версту обежал бы тот дом, в котором я ее встретил.

– Ладно, – сказал я, – я пошел!

– Куда? – растерялся Лодя и перестал быть похожим на святого Себастьяна. Стал Лодей. – Как это пошел?

– Вы просто любите друг друга. А я как дурак хожу туда-сюда.

Я понял: у них шла борьба за власть. Лодя хотел подчинить жену. А жена отстаивала свои права на индивидуальность.

– Но книги... – Лодя пошел за мной следом.

– Вы помиритесь, и мне придется везти твои книги назад. Я так и буду – туда-сюда...

Некогда мне.

Из кухни выскочила жена брата и схватила меня за руку. Пальцы у нее были тонкие, но очень сильные.

– Подожди! – крикнула она.

– Пусть уходит! – крикнул Лодя и, схватив меня за другую руку, потянул к двери.

Я сделал шаг вправо, потом два шага влево, в зависимости от того, кто меня дергал: Лодя или его жена. Жена была сильнее, и я побоялся за свой плечевой сустав.

– Больно же... – сказал я.

– Пусть останется, поест! Он же два часа внизу сидел! – сказала жена.

Это было справедливо, но Лодя справедливо боялся, что, если я задержусь, их зыбкие отношения примут прежний крен и тогда Лодя останется без жены, а жена без дачи.

– Не нужна мне твоя дача, – сказала жена, отпуская мою руку.

– Да бери, пожалуйста, – уступил Лодя.

– На что она мне? Сидеть там одной, как сурок...

– Ты одна не будешь. Приятелей много.

– Приятелей много, а ты один.

Жена смотрела на Лодю. Ее губы вспухли от слез, как весенние почки. В глазах стояло солнышко.

– Прости меня, – попросила она. – Я больше не буду красить губы.

– Я не могу простить. Я поклялся здоровьем нашего ребенка. Если я тебя прощу, Бог накажет...

– У Бога столько дел: времена года менять. Баланс в природе поддерживать. Думаешь, ему есть время слушать твои глупые клятвы?

Жена взяла Лодю за руку, и они пошли по коридору. Вошли в комнату и закрыли за собой дверь.

Я хотел было выйти из квартиры, но не знал, как обращаться с замками.

Я заглянул в дверной глазок. Была видна лестница и лифт, уменьшенный оптикой.

Я пошел на кухню и сел на табуретку. Очень хотелось есть. На холодильнике лежала газета. Я раскрыл ее, прочитал: «Производственное объединение «Кзыл-Ту» приступило к серийному изготовлению оригинального термоса для хранения и транспортировки обеда из трех блюд...»

Я вернулся к входной двери и стал энергично орудовать с замками. В какой-то счастливый момент дверь раскрылась. Лестница и лифт явились мне в реальных размерах.

«Стандарт»... Тогда получится: «Подсчитано отдельно по номенклатуре и каждому стандарту». Не годится. Может быть, «индивидуальность». Но слово «индивидуальность» применяется только к одушевленному предмету и не может быть применимо к единице оборудования. Например, моя индивидуальность состоит в отсутствии всякой индивидуальности. Индивидуальность Кире – в том, что она женщина. Главное в ней – это стихия женственности, которая от нее исходит и охватывает людей, зверей и даже неодушевленные предметы. Когда она держит в руке, скажем, ложку, то это уже не просто ложка, а ложка плюс еще что-то, весьма загадочное и вкрадчивое.

Все люди, которых я знаю, где-то работают, что-то делают, сеют разумное, доброе, вечное и по десять лет ходят в одном и том же пальто. Кира – ничего не сеет и одевается по завтрашней моде. У нее есть манера – опаздывать на час и на два. Но если бы Кира совсем забыла о свидании, я все равно ждал бы ее – день, два, неделю – до тех пор, пока она не вышла бы из дома, скажем, за хлебом и не наткнулась на мою машину случайно.

Мимо машины прошли двое: женщина и девочка лет четырех. Глаза у женщины полны слез, а губы девочки упрямо поджаты.

– Это хамство, – обиженно проговорила женщина. – Хамство, и больше ничего!

– Ну и пусть! – ответила девочка.

Я смотрел им вслед. О! Как бы я хотел, чтобы это была моя семья. Вернее, вместо жены – Кира. А в дочках могла бы остаться именно эта юная хамка.

Из подъезда вышла Кира. Я смотрю на нее, и у меня настроение как у мальчика, которого взяли в цирк.

Кира садится в машину. Спрашивает:

– Хочешь яблоко?

– Нет, – отказываюсь я. Потом вспоминаю душистую упругость антоновки и говорю: – Вообще-то хочу...

Кира достает из сумки два яблока: одно для себя, другое, поменьше, – для меня. При всем своем нежелании жить она очень следит за своим здоровьем и не забывает о витаминах.

Я поднимаю очки на лоб и начинаю есть. Она искоса следит за мной, и я вижу, что ей все во мне не нравится.

– Может, пойти работать в штат? – раздумывает Кира.

– Ни в коем случае! – пугаюсь я, потому что не в состоянии совместить эти два понятия: Кира и штат. Потом я думаю о том, что ежедневная служба дисциплинирует ее, и говорю: – А может, тебе действительно пойти в штат...

– Ты когда-нибудь играл сам с собой в бадминтон?

– Как это? – не понимаю я.

– Ну вот ты бросаешь волан. Он летит и падает в траву. Ты подходишь, поднимаешь, возвращаешься на исходную точку. Опять бьешь ракеткой. Волан опять летит и падает в траву. Ты опять идешь, опять подбираешь...

– К чему ты это?

– К тому, что беседа – это тоже игра. Прием и подача. А ведь я одна разговариваю.

– Почему?

– Я спрашиваю: «Хочешь яблоко?» Ты говоришь: «Нет», потом тут же говоришь: «Да». Я спрашиваю: «Идти работать?» Ты говоришь «нет», потом тут же говоришь «да». Ты что, дурак? Я боюсь сказать «нет», а потом тут же сказать «да».

– Не знаю, – говорю я, – вообще я всегда хорошо учился...

– Господи... – вздыхает Кира.

Я обижаюсь, но не показываю виду. Иначе она скажет: «Никогда не страдай при женщине. Вот придешь домой и страдай сколько хочешь».

Она злится и срывает на мне злость за то, что я – не тот, кто ей нужен. Ей нужен совершенно другой человек, а вместо него я. Со мной ей плохо, но без меня еще хуже. Без меня ей некому будет показывать свою злость и не на ком ее срывать. У нее просто лопнет сердце.

Мы едем за город. Это называется у нас «по огородам». От основного шоссе идет бетонная дорога, по которой никто не ездит и не ходит. Куда она ведет? Откуда она возникла?

– Тебе надо родить, – советую я.

– От кого?

– От меня.

– Я не хочу от тебя. Ты некрасивый.

– Маленький я был очень хорошенький. Хочешь, карточку покажу?

Мы съезжаем с бетонной дороги и несемся куда-то по кочкам, мимо избушек с курами и гусями. Высокий человек в серой кепке провожает нас глазами. Он видит, что нам весело, и ему хочется вместе с нами.

Здесь я даю ей в руки руль и учу ее водить машину. Я учу ее уже два месяца, и она обнаруживает явные способности.

Кира не собирается водить машину, и мое обучение не имеет никакой практической пользы. Просто она выходит ко мне из своей жизни в растерянности, в раздрыгах, а я ее собираю. Я даю ей в руки руль, переключаю ее внимание на движение, на скорость, на повороты, и она забывает обо всем остальном. Она крепко держит руль, глаза ее горят, она похожа на девочку, играющую в лапту. Я люблю ее вместе с ее никчемностью и хамством. Я могу отвезти ее на самое синее море и научить водным лыжам. Я могу отдышать ее, как замерзшую птицу, и в ней не будет больше хамства отчаяния, а будет корректность человека, уверенного в своем завтрашнем дне. Я говорю:

– Выходи за меня замуж.

– Но я не люблю тебя.

Я знаю: она любит другого. Для меня это не новость, и все равно я чувствую, будто мне в грудь положили холодный брусок.

Кира смотрит на меня, и ей меня жаль.

– Ты понимаешь... Я люблю твое ко мне отношение, но то, что у нас с тобой, это совсем не то.

– Ну да... я понимаю... Но почему вы с ним не поженитесь?

– Потому что он непорядочный человек. В нем нет стремления к порядку. Он предпочитает тотальный хаос отношений.

– Зачем же любить непорядочного человека?

– Он, конечно, бывает низок, как свинья. Но зато он бывает высок, как никто. Я знаю его звездные часы. Это звездный человек. Ты рядом с ним все равно что губная гармошка в сравнении с органом.

Я запираю машину, и мы идем в лес.

Какая красивая осень – прохладная и строгая. Березы нежные, ели значительные. Я углублен в себя и не замечаю этой красоты, но она проникает через глаза, через уши независимо от меня и наполняет тишиной и смирением.

Кира останавливается и смотрит мне в лицо.

– Хочешь, я выйду за тебя замуж?

Я молчу, ожидая подвоха.

– Убей его, – серьезно говорит Кира.

Я вижу, что она не шутит.

– Не могу, – говорю я, тоже серьезно. – С какой стати?

– Ты любишь меня?

– Да.

– Во имя любви.

– Ты считаешь, этого достаточно?

– Сто лет назад этого было вполне достаточно.

– Но он мне ничего не сделал.

– Он иссушил мою душу. Это тоже преступление.

– Попроси кого-нибудь другого, – предлагаю я.

– Другого у меня нет. Только ты.

Такая преданность меня тронула. Я колебался.

– А где я возьму ружье?

– У милиционера, у охотника, в тире – тысяча мест.

Я задумался, глядя сквозь березовые стволы.

– Меня посадят в тюрьму... – торгуюсь я.

– Я приеду к тебе в Сибирь.

– Ты? В Сибирь? – усомнился я.

– А что? Там мало людей и много свежего воздуха.

Я представил себя и Киру в высоких валенках. Мы идем по сугробам, возьмем на каждом шагу, и это нам смешно.

– Ну?

Кира смотрит мне в самые зрачки, как бы подталкивая своим «ну» мою нерешительность.

– Ладно, – вяло соглашаюсь я, поскольку не умею отказывать, когда меня о чем-то просят.

Сработала гипертрофия обратной связи. Хотя, если разобраться, любовь – это и есть та самая гипертрофия, когда интересы другой стороны становятся выше, чем свои.

Мой приятель Гарик говорит обо мне, что я – бассейн на Кропоткинской, который отапливает вселенную.

Гарик, кстати, тоже обладает энергией, способной обогревать вселенную, но топит он за деньги или за обратные услуги. Его жизненная система формируется так: «Я – тебе, ты – мне». В сущности, это удобно и справедливо.

Гарик – гений доставания. Он может достать все, что угодно: югославскую кухню «Катарина», швейную машинку «Веритас», московскую прописку, птичье молоко, живую воду, и если бы Руслану понадобилась Людмила, то ему не пришлось бы лететь по небу за Черномором, рисковать, держась за бороду. Гарик привез бы Людмилу на такси, по указанному адресу и к назначенному сроку. За деньги или за ответную услугу.

Я попросил Гарика достать мне огнестрельное оружие. Гарик сказал, что от него много грохоту, и достал мне цианистый калий по большому благу.

Мы вышли на кухню. Гарик стал отсыпать пол чайной ложки в чисто промытую баночку из-под вазелина. По внешнему виду цианистый калий походил на мелко толченный антрацит. Острые кристаллики отливали коричневым и поблескивали.

– А это не марганцовка? – усомнился я.

– Не пробовал, – сказал Гарик.

– А как проверить?

– Никак.

«В самом деле, – подумал я, – кто будет проверять. Даже если пятьдесят процентов риска, то это тоже очень высокий процент».

– А сколько с тебя взяли?

Я попробовал проверить по цене. Марганцовка стоит одиннадцать копеек. Могли, правда, запросить в десятикратном размере, учитывая дефицит, но и тогда получилось бы только рубль десять.

– Нисколько, – сказал Гарик. – Услуга за услугу.

– А какая услуга?

– Билеты в театр.

– Но это же неравноценно...

– Неизвестно, – заметил Гарик. – Тут спектакль и там...

– А я тебе что должен?

– Будешь переводить мою переписку.

– С кем? – испугался я.

– С частным детективом. Из Англии.

– Но это мелочь... – возразил я.

– Мы же друзья, – напомнил Гарик.

Дружба тоже входила в прейскурант.

Гарик закрыл баночку и сказал, чтобы я не вздумал ее открывать и нюхать. Еще он сказал, что цианистый калий – очень дефицитное средство и, если у меня останется, я должен вернуть все, что останется.

Я положил коробочку в карман и, чтобы не тянуть с этим делом, тут же позвонил «непорядочному человеку».

Трубку долго не снимали. В глубине души я мечтал, чтобы никого не оказалось дома. Но Он был дома.

– Слушаю... – отозвался хриловатый голос много курящего человека.

– Здравствуйте, – поздоровался я.

– Здравствуйте. – Он был вежлив, но я все же чувствовал, что Он торопится и не расположен к длительной беседе с незнакомым человеком.

– Я должен с вами встретиться. У меня к вам дело.

– Какое дело, простите?

– Это ненадолго, – пообещал я. – Это займет у вас...

– Две секунды, – подсказал Гарик, имея в виду эффективность цианистого калия.

– Две секунды, – повторил я.

– Хорошо, – согласился Он. – Приезжайте.

Я ожидал, что мне откроет отрицательный красавец, хозяин жизни, пират в далеких морях, предпочитающий тотальный хаос скучному порядку. Но дверь отворил невысокий лысоватый и рябоватый человек. Большой головой и тонкими ногами он неуловимо напоминал кузнечика, однако в бархатном пиджачке и с печальным взором. Мне показалось, что я ошибся.

– Это вы звонили? – спросил Кузнечик.

– Да. Это я.

– Проходите, пожалуйста.

Я вошел в прихожую. Мне совершенно не хотелось его убивать. Наоборот, мне хотелось что-то для него сделать, например сварить кофе или поджарить картошку. Я просто не представлял себе, как буду выходить из создавшегося положения.

– Я должен перед вами извиниться, – проговорил Кузнечик, – меня срочно вызвали на прослушивание. Я должен бежать. Так что если можно – давайте на ходу и покороче.

Он смотрел мне в лицо мягко и одновременно твердо.

– Я должен вас убить, – сказал я мягко и в то же время твердо, глядя на него осмысленно и с симпатией. Чтобы он не принял меня за сумасшедшего.

Он задумался ненадолго, глядя в пол. Потом пошел в одну из комнат и тут же вернулся с зажигалкой в замшевом чехольчике. Положил ее в карман своего плаща. Он молчал, и это ставило меня в затруднительное положение.

– Почему вы молчите? – спросил я.

– А что я должен сказать? «Пожалуйста» или «Ой, не надо»... Что вы от меня ждете?

– Я не знаю. Мне очень неудобно, – сознался я.

Он поставил ногу на маленькую табуреточку и стал затягивать шнурки на ботинках, а я стоял рядом и смотрел, как он это делает: он выстроил сначала петлю на одном шнурке, потом на другом, а потом переплел эти петли в бантик.

– Как вы странно завязываете, – удивился я.

– В детстве так научили.

Я читал, что из летающих тарелок выходят инопланетные жители, их называют гуманоидами. Они похожи на людей и бывают трех видов: низкие, средние и трехметровые. Может быть, это – гуманоид? Он вышел из тарелки и остался. И скучает по своей планете. Иначе чем объяснить его печальный взор?

– Лично я против вас ничего не имею, – сказал я. – Может, вы сами...

– Что? – Он выпрямился.

– Убьете себя, – прямо сказал я.

– Но мне не хочется, – прямо сказал он.

– Ради Киры...

– Я так и понял: откуда ветер дует.

– Она плачет, – грустно сказал я.

– Она всегда будет плакать. Это характер.

– Может быть. Но одно дело – плакать в свои ладошки, а другое – в мужское плечо.

– Я не могу подставлять плечо. Если я встану на эту стезю, у меня не будет другого занятия, как только подставлять плечо. Я – занятой человек. Я так устал... – вдруг пожаловался он.

– Но она страдает.

– Потому что ей больше нечем заняться. Она бездельница.

– Да. Она бездельница. Но она – ВАША бездельница.

Зазвонил телефон.

– Снимите трубку, – попросил Кузнечик и пошел к себе в кабинет.

– Я слушаю, – отозвался я.

– Кто это? – спросил голос Киры.

– Это я.

– Я тебе через десять минут перезвоню. – Кира бросила трубку.

Я тоже положил трубку. Телефон в ту же секунду зазвонил.

– Я слушаю.

- Это опять ты? Да что это такое, я звоню совсем в другое место, а набираю твой номер.
- Ты правильно набираешь, – сказал я. – Я у него.
- Дурак, – определила Кира. – И шутки твои дурацкие...

Она бросила трубку. Я дождался, пока она снова зазвонила, и сказал:

– Я слушаю...

Кира довольно долго молчала, потом спросила:

- Что ты там делаешь?
- Но мы же договорились...
- О чем мы договорились?
- Что ты приедешь ко мне в Сибирь.
- В какую Сибирь?
- Ты что, забыла?
- О чем?

Хорош бы я был...

Я бросил трубку и побежал по квартире разыскивать Кузнечика. Он стоял у себя в кабинете, торопливо перебирал какие-то бумаги.

- Мне не надо вас убивать! – сообщил я.
- Я очень рад за вас, – поздравил меня Кузнечик, не отрываясь от бумаг.

Зазвонил телефон.

– Меня нет! – крикнул Кузнечик.

Я снял трубку и снова услышал Киру.

– Его нет дома, – сказал я ей. – И перестань звонить каждую минуту.

Кузнечик чего-то не мог найти и нервничал.

– Не волнуйтесь, – сказал я. – Я с машиной. Я вас подвезу.

– Да? Это очень кстати. Тогда у нас есть еще, – он посмотрел на часы, – одиннадцать минут.

Кузнечик вывел меня на кухню и достал из холодильника запотевшую бутылку джина.

– Мне нельзя, – сказал я.

– Мне тоже. Символически... – Он разлил джин по рюмкам.

Мы подняли рюмки и посмотрели друг на друга. Лицо у него было узкое и такое печальное, будто он знает что-то неизмеримо больше, чем все.

– Не стоит меня убивать, – серьезно сказал он. – К чему такие хлопоты? Стар я для страстей...

- Тем более надо торопиться дать счастье.
- Некогда мне. У меня тысяча дел, которые никто за меня не сделает.
- А это тоже дело. Может быть, даже самое важное.
- Какое? – Он нахмурился, сосредоточиваясь.
- Дать счастье другому человеку.

Он внимательно посмотрел на меня и поставил рюмку.

– Насколько я понимаю, мы соперники?

– Нет, – сказал я. – Я не соперник. Она никогда не хотела меня убить.

Ехали мы в молчании. Кузнечик сидел рядом, но у меня было впечатление, что его нет. Я понял: он выключился из реальности и пребывал в своих делах.

– Вы где работаете? – спросил вдруг Кузнечик, возвращаясь в машину.

– Я – технический переводчик. Вы, наверное, подумали, что я сумасшедший, – догадался я.

– Нет. Я подумал: это мы все сумасшедшие, – он кивнул на тротуар, где текла река пешеходов. – А вы совершенно нормальный человек.

Я остановил машину против большого красивого здания.

Кузнечик выбрался из машины и пошел, чуть склонив свою крупную голову.

Я вздохнул. Потянулся к заднему сиденью, взял папку и пристроил ее на колене.

Кузнечик оглянулся и подошел к моей машине.

– Что вы ждете? – спросил он.

– Вас.

– Убить?

– Нет. Чтобы отвезти вас домой.

Я жду так часто, что это превратилось у меня в безусловный рефлекс.

– Не надо, – сказал Кузнечик, удивившись. – Большое спасибо. Я сам доберусь.

Он улыбнулся мне, чуть приподняв лицо, трепеща ресницами. Потом повернулся и пошел – одинокий и непостижимый. Звездный мальчик. Инопланетный человек. Он делает свое дело и не входит ни в чье положение. Поэтому Кира выбрала его, а не меня. Хотя, объективно, я более красивый и положительный и предпочитаю порядок тотальному хаосу.

Через месяц случилось то, что должно было в конце концов обязательно случиться. Меня выгнали с работы.

Мой начальник Лебедев сказал, что у него нет другого выхода, поскольку если он не выгонит меня, то вышестоящий начальник выгонит его. А он, Лебедев, к этому морально не готов.

Я сказал:

– Извините, что я тратил ваши нервы.

Я рассчитывал, что моя покорность смутит Лебедева и он отменит свое решение. Но Лебедев пожал плечом и сказал:

– Каждый человек тратит другого человека. Это и называется жизнь.

По тому, как он говорил со мной, вежливо и отстраненно, я увидел, что он уже сбросил меня со счетов. У него уже есть на примете другой переводчик, которому обещано мое место. Может быть, он уже сейчас сидит в раздевалке и ждет, когда я уйду.

Я вышел от Лебедева. Перед его дверью сидела секретарша Роза. Прошлом лето я вывозил ее с семьей на дачу.

– А меня выгнали, – сказал я Розе.

Я мог рассчитывать на то, что Роза бросит все свои дела, выведет всех сотрудников на улицу и они пойдут перед издательством с лозунгами и транспарантами.

– А за что? – спросила Роза.

– За то, что я ничего не делал...

– А...

Организовывать забастовку Роза не побежала. Осталась сидеть на месте.

– А на что ты будешь жить? – спросила она.

– Что-нибудь придумаю...

Роза задумалась. Ее лицо стало сомнамбулическим. Видимо, она мысленно изыскивала средства, на которые бы она существовала, если бы ее выгнали с работы.

Тамара стояла возле плиты и готовила ужин: жарила яичницу с докторской колбасой.

В кухню вошла ее десятилетняя дочь Катя.

– Мне грустно! – воскликнула девочка. Ее голосок прозвучал пронзительно, как крик птицы.

– Это нормально, – объяснила Тамара. – Человеку не может быть только весело. Если это не идиот, конечно.

Катя постояла и ушла.

– Тамара, – сказал я, – одолжи мне денег.

– Я же при тебе купила эти колотырки. Весь аванс ушел. Я сама думала: у кого бы перехватить. Честное слово!

Тамара показала мне искренне вытаращенные глаза.

– Я верю, – сказал я. – Извини, пожалуйста.

В кухне появился ее муж Левка. Он был заспан и одет, как беженец. Он любил спать среди дня.

– Ты чего не раздеваешься? – спросил Левка.

– Я на минуточку.

– Зачем ты ее возил? – Левка глядел на меня с брезгливым любопытством.

– Она попросила, я и повез.

– Лева! Ну я же тебе объясняла: мне надо было исключить! – вмешалась Тамара.

– Она же истеричка. В следующий раз она тебя в морг потащит. Тоже поедешь?

– Наверное, – я пожал плечами.

– Зато теперь я спокойна, – сказала Тамара.

– Можно было успокоиться меньшей ценой.

– Это тебе всегда все удается даром, – сказала Тамара. – А я всегда плачу втридорога за все: и за туфли, и за покой.

– Ты платишь, когда можно и не платить. А почему? Потому что у тебя низкая разрешающая способность мозга.

Тамара внимательно посмотрела на мужа, пытаясь расшифровать сложную формулировку.

– Ты дура, – расшифровал Левка.

– Если бы я была дура, то я не защитила бы докторскую в тридцать пять лет.

– Значит, ты умная дура.

Левка достал начатую бутылку водки.

– Садись с нами, – предложил он.

– Спасибо, – отказался я, потому что каждый день ем яичницу с колбасой.

– Ну, просто выпей.

– Не могу. Мне нельзя.

– А ты всегда делаешь только то, что можно?

– У меня камни.

– Они и не почувствуют.

Левка разлил водку по чайным чашкам. Поднял свою чашку. Ждал.

– Ну?

Когда я чувствую волевой импульс, направленный на меня, я не могу противостоять. Я выпил и потряс головой.

– Может, все-таки сядешь? – предложила Тамара.

– Да нет, – сказал я. – Пойду.

Когда-то, в студенческие времена, я привез из Одессы старый штурвал корабля и приделал его на балконе. С внешней стороны. Моя квартира представлялась мне кораблем, уходящим в открытое море, а сам я – пират с повязкой на глазу. Я прыгал со своего корабля на чужой, бежал, громко топоча по деревянной палубе, – отнимал. Не отдавали – убивал. Ссыпал в карман драгоценности. Целовал красивых аристократок и носил повязку на правом глазу. Я глазом платил за эту вольную жизнь, а может быть, даже надевал повязку на здоровый глаз.

На сегодняшний день мой штурвал потемнел от дождей и засохшей грязи. Рядом с ним стояли пустые бутылки из-под боржома и высокая банка с олифой.

Не снимая пальто, я сел к телефону и набрал номер Лоди.

– У нас все в порядке. Спасибо, – отозвался Лодя. Он решил, что меня беспокоит его семейная жизнь, и благодарил меня за заботу.

– Одолжи мне денег, – сказал я.

– Сколько?

– Сколько есть.

– На сколько?

– На сколько можешь.

Эта неопределенность повергла Лодю в размышление.

– Я могу дать тебе десять рублей на неделю, – предложил Лодя.

– Меня это не устроит.

– А больше у меня нет.

Я молчал. Лодя воспринял мое молчание как недоверие.

– Вообще у меня есть, – признался Лодя. – Но они на срочном вкладе. Если я их оттуда возьму, я потеряю проценты.

Я молчал. Слушал.

– А вообще, если честно, проси у меня все, что хочешь. Я могу сделать тебе выгодный обмен, машину без очереди. А денег я не занимаю. Жадный я до денег.

– Спасибо, – сказал я, имея в виду машину без очереди.

– Ну, звони! – Лодя торопился окончить неприятный для себя разговор.

Я включил телевизор и стал его смотреть. Холодная водка блуждала по моим сосудам, и мне было холодно.

Когда я раньше смотрел телевизор – я помнил, что меня ждет работа, и мучился угрызениями совести. Эти угрызения делали все передачи особенно интересными, и я смотрел от начала до конца, что бы мне ни показывали.

Сегодня я мог сидеть перед телевизором со спокойной совестью.

Шла передача о том, как готовят капитанов дальнего плавания. Каждому поступающему задают тесты. Ответы запускают в машину, а машина точно определяет – годится человек в капитаны или нет.

Зазвонил телефон. Я снял трубку.

– Кто это? – спросил звонкий голос, не то детский, не то женский.

– А кого вам надо?

– А это кто? – настаивал голос.

– Дмитрий Мазаев.

– Ты дурак! – азартно крикнул голос, и его владелец бросил трубку, чтобы я ничего не успел ответить. Чтобы последнее слово осталось за ним.

А ведь правда, понял я про себя. Я дурак. Дурак, как всякая биологическая особь, бывает разных родов и видов. Есть дураки умные, как Тамара, есть – торжественные. А я – набитый дурак. В тех дураках есть хоть какой-то смысл. Во мне – никакого.

Зерно, брошенное в землю, прорастет ростком только весной, когда земля вспахана и ждет этого зерна. Я же, как полоумный пахарь, бросаю свои зерна либо в сугробы, либо на асфальт. Мои зерна гибнут и никогда не возвращаются мне хлебом. Книги, которые я перевозю, идут в другие страны. Женщина, которую я люблю, каждый день уходит в свою жизнь. Я как бассейн на Кропоткинской, который обогревает вселенную. А если этот бассейн вдруг закрыть, а воду выпустить, – вселенная и не заметит. Ее климат не изменится.

Невозможно, да и не надо обогревать вселенную. Надо обогреть одного человека, которому нужно это тепло. Но такого человека у меня нет.

Судьба – это характер. А мой характер изменить невозможно, потому что это и есть мой типоразмер.

Каков же выход?

Можно отнестись к проблеме спортивно: делать утреннюю гимнастику, переходить к водным процедурам, совершать перед сном длительные прогулки, дышать по системе йогов, голодать раз в неделю. Но для того, чтобы так жить, надо очень сильно любить себя. Мне это скучно.

Я вспомнил про цианистый калий. Я так и не вернул его Гарику, и он остался лежать у меня в нижнем ящике письменного стола.

Я высыпал несколько кристалликов на ладонь, хотел опрокинуть в рот, но все мое существо сказало: «Нет». Тогда я пошел на кухню, отрезал кусок хлеба, помазал яблочным джемом, потряс сверху цианистым калием и начал есть. Я ел стоя, и прислушивался к себе, и машинально искал синоним к слову «типоразмер». «Модель», – нашел я. Теперь можно умереть спокойно.

В дверь позвонили. Я доел до конца свой бутерброд, отряхнул руки и прислушался к себе. Во мне все было по-прежнему. Может быть, этот цианистый калий слишком долго валялся на складах. У него вышел срок годности, и он утратил свои первоначальные свойства.

Я пошел в прихожую и открыл дверь. На пороге стоял Гарик.

– Ты за цианистым калием? – спросил я. – У меня его нет.

– А куда ты его дел? – поинтересовался Гарик.

– Съел.

– Черт с ним, с калием. Я тебе письмо принес. Переведешь?

Мы прошли в комнату. Гарик увидел штурвал за окном.

– Это что, колесо от прятки?

Я не стал объяснять. Во мне что-то происходило, будто взбегали пузырьки с шампанским. Я испугался и, чтобы отвлечься, развернул письмо.

Частный детектив из Англии советовал Гарику браться только за такие дела, которые совпадают с его нравственными принципами. Чтобы не было противоречий между поступками и убеждениями.

– А зачем это тебе? – спросил я. – Ты хочешь сделать кому-нибудь услугу?

– Если не передумаю, – сказал Гарик.

– Не передумаешь.

– Почему это? – обиделся Гарик.

– Потому что ты любишь материальные блага. Тебе нравится иметь все.

– Иметь все и не иметь ничего – одно и то же, – с убежденностью сказал Гарик.

– Возможно, – согласился я. – Но лучше это утверждать, когда имеешь все. Иначе это выглядит как платформа неудачника.

– Иметь все нужно только для того, чтобы плюнуть на это «все» и выйти на новый виток.

– А что на новом витке? Как там живут?

– Как ты...

– То есть...

– Любовь. В широком смысле слова: все отдавать ближнему и ничего не просить взамен. Такие люди редкость. Но они всегда были. И есть.

– Предположим, что я на новом витке человеческого сознания. Но мне-то от этого что? Какая польза?

– Ты долго будешь жить. Таких, как ты, природа долго держит на земле.

Я закрыл глаза. Во мне с каждой минутой нарастала какая-то общая разряженность, будто меня с большой глубины поднимали на поверхность.

– Кто знает, – тихо сказал я. – Если меня проверить по машине, может, я по призванию пират в далеких морях. Может, моя стихия – отбирать. А не отдаю – убивать.

– Но ведь и пирата могут убить.

– Могут. Но когда он живет – он живет.

– Неизвестно, о чем думает пират, когда он остается один.

Гарик подошел к телефону и набрал номер.

– Скажи моей жене, что я у тебя, – торопливо зашептал он и протянул мне трубку. Для того чтобы ее взять, я должен был подняться с кресла.

– Я не могу встать, – сказал я.

Гарик не стал спрашивать: «Почему?» Он поднес телефон, насколько хватило шнура, и поставил его возле меня на пол.

– Гарик у меня, – сказал я, не поздоровавшись.

– Скажи, что я скоро вернусь, – прошептал Гарик.

– Он скоро вернется, – повторил я.

Жена Гарика прислушивалась, как бы определяя процент правды в моем голосе.

Гарик взял у меня трубку и повторил жене все то же самое. Привычка врать и выкручиваться превратилась у него в безусловный рефлекс. Так же как у меня – ждать. И когда Гарик говорил правду, то вроде тоже врал. Он положил трубку и вздохнул с облегчением, будто удачно проскочил сквозь опасность.

– Ну ладно, я пойду, – задумчиво предположил он и действительно ушел.

Я с трудом добрался до постели и лег прямо в пальто. Боль во мне росла, набирала силу и грозила сделаться непереносимой.

Я стал искать позу, чтобы приспособиться к боли. Потом лег на пол и принялся кататься.

Сколько прошло времени, я не помню. Но вдруг в какую-то минуту мне стало всё всё равно. Я понял, что умираю. Но и это мне тоже было все равно.

Человек не может смириться с мыслью о смерти, и поэтому мудрая природа опускает на него безразличие. Как самозащиту.

В литературе я читал, что перед смертью человек мысленным взором обегает свою жизнь. Я ее позабыл. Мне казалось, будто я плыву в океане на узком деревянном плоту. Мой плот чуть покачивается на волнах. Его все дальше относит от берега.

Я открыл глаза и увидел посреди комнаты Киру. Я не удивился, как она здесь возникла. Мне было все равно. Но я не хотел, чтобы она видела, как я умираю. Собаки, кстати, тоже предпочитают делать это без свидетелей.

Я усилием воли сосредоточил в себе память. Я как бы привстал с плота. Спросил:

– Как ты вошла?

– Не заперто было, – ответила Кира. – А ты почему на полу?

– Умираю, – сказал я отчужденно, будто речь шла о ком-то постороннем.

– А я замуж выхожу, – сообщила Кира и села возле меня на пол. – Ты рад?

– Да.

– Или нет?

Я устал невероятно, мне хотелось снова опуститься на свой плот. Но я сосредоточился и сказал:

– Я рад за тебя. Ты молодец.

– Это ты молодец. Ты возвел меня в ранг королевы, и я сама стала иначе к себе относиться. А ведь другие относятся к человеку так, как он сам к себе относится. Правда?

Я закрыл глаза, и мой плот стал съезжать с волны, как с горы. Он все съезжал и съезжал... Но что-то держало меня, будто за волосы. Вопрос Киры. Она что-то спрашивала, и я не мог выпасть из времени, пока не отвечу на ее вопрос.

– Поэтому я и не работаю, – проговорила Кира откуда-то издалека. – Королевы ведь не работают?

– Не работают, – повторил я последние услышанные слова.

– Или что-то делают? – усомнилась Кира.

– Что-то делают, – повторил я.

Кира могла разозлиться и сказать, что разговаривает сама с собой, но мне было все равно.

– Что с тобой? – заметила Кира.

– Умираю...

– Да брось ты...

– Налей мне в ванну горячую воду, – попросил я, чтобы отослать ее от себя.

Она побежала в ванную и запела. Я слышал плеск воды и ее голос.

Потом она вошла и спросила:

– Тебе как лучше, чтобы я ушла или осталась?

Мне хотелось, чтобы она ушла, но сказать это было невежливо.

– Как хочешь...

– Тогда я пойду.

Кира хлопнула дверью и побежала вниз по лестнице. Я лежал и какое-то время слышал ее шаги. Слабая тень сожаления качнулась во мне, оттягивая меня от равнодушия.

Я закрыл глаза. Меня снова потянуло в глубину океана, но я снова не мог в него погрузиться. Мне опять что-то мешало. Телефон. Он звонил беспрестанно, как будто испортился контакт.

Я протянул руку, нащупал телефон и взял трубку. Я поднес ее к уху и услышал голос Тамары. Мы жили в одном подъезде, и Тамарин голос звучал так громко, как будто она стояла здесь же и кричала мне в ухо. Она кричала, чтобы я повез ее завтра по всем фирменным магазинам: «Ванда», «Власта», «Лейпциг» и «Ядран».

Соленая волна накрыла меня с головой. Я выплюнул воду и сказал:

– Но ведь «Лейпциг» и «Власта» через дорогу.

– Ага... – заорала Тамара, будто я подкинул сухой хворост в ее костер. – «Ванда» – в центре. А «Ядран» – на выезде из Москвы. На полпути к Ленинграду.

Тамара молчала. Ждала. Я должен был ей что-то ответить.

– Ладно, – ответил я. – Если не умру...

Я положил трубку. Отдыхал. Боль куда-то ушла. Я ощущал ее как воспоминание о боли.

Может быть, цианистый калий в сочетании с яблочным джемом дает какое-то нейтральное соединение. А скорее всего Гарика просто надули. Система «я – тебе, ты – мне» оказалась ненадежной.

Я закрыл глаза и поплыл в обыкновенный сон. Меня по-прежнему чуть покачивало на волнах, но мой плот шел к берегу.

Я уже знал, что не умру. Иначе кто же повезет Тамару по магазинам...

Плохое настроение

Районный детский врач Виктор Петрович – молодой человек с внешностью разночинца – сидел ссутулившись и прослушивал очередную пациентку. Он передвигал стетоскоп по ее голой спинке, говорил: «Дыши... не дыши...», потом замолкал, глядя куда-то в угол.

Мать стояла здесь же, в кабинете, держа в руках детские одежки, с тревогой смотрела на врача, пытаясь определить по его лицу дальнейшую судьбу своей дочери. Но по лицу ничего понять было невозможно.

У Виктора Петровича было такое выражение, будто ему десять минут назад позвонила жена и сказала, чтобы он больше не приходил домой. Либо только что вызвал главный врач детской поликлиники и потребовал, чтобы Виктор Петрович написал заявление об уходе.

Девочка послушно дышала или не дышала, с восторгом косилась на мать. Она была тщеславным ребенком и любила находиться в центре событий.

Виктор Петрович выдернул из ушей костяшки стетоскопа и сказал медсестре:

– Пишите рецепт.

Медсестра сидела по другую сторону стола в белом халате и красной мохеровой шапке. Казалось, будто она не на работе, а просто зашла посидеть. Шла мимо и зашла.

– Как зовут? – спросила медсестра.

– Меня? – переспросила мать. – Лариса.

– При чем тут вы? – обиделась медсестра.

– Маша Прохорова, – вмешалась девочка.

– Одевайтесь, – велела медсестра.

Лариса торопливо стала натягивать платье на Машу. Платье не шло, потому что волосы намотались на пуговицы. Лариса спешила. Маша кричала. Виктор Петрович ждал с вежливым отвращением.

– Следующий! – вызвала сестра.

Вошла следующая пара: бабушка и внучек. Оба принаряжены, с радостными, торжественными лицами, будто пришли в гости и не сомневаются, что им очень рады.

– Раздевайтесь! – предложил Виктор Петрович, обреченно глядя в окно.

Лариса и Маша справились наконец с платьем, забрали рецепт и вышли из кабинета.

Трехлетняя Дашка сидела на стуле и честно поджидала. Увидев своих, она слезла со стула и вложила свою руку в руку матери. Лариса взяла Дашку за одну руку, Машу – за другую и повела их вниз по лестнице.

Маша шла возле стены, а Дашка – по другую сторону, везла руку по перилам, сгребая в ладонь все существующие в районе микробы.

– Убери руку, – приказала Лариса.

– Почему? – спросила Дашка.

– Потому что потому, все кончается на «у», – ответила Лариса.

Такой ответ был непедagogичным, но Лариса знала свою дочь: отсутствие логики действовало на нее гипнотически. Так и сейчас: она сняла с перил руку и даже сунула ее за спину.

Маше наоборот – все нужно было объяснять подробно, выделяя причины и следствия и их взаимосвязь.

Когда наконец добрались до раздевалки, то выяснилось, что пропал номерок.

Стали искать в сумке и по карманам, не желая верить и не мирясь с пропажей. Потом еще раз прошуровали все отделения сумки, все карманы и кармашки. Номерка не было нигде.

– Потеряли, – созналась Лариса, виновато глядя на гардеробщицу в синем халате.

– Ищите! – постановила гардеробщица и, считая аудиенцию законченной, ушла в глубь своего царства.

Лариса взяла дочерей за руки, и все трое побрели обратно, напряженно глядя в пол, прочесывая глазами каждый сантиметр сиреневато-бежевого паркета.

В районе уборной Даша нашла большую черную пуговицу с четырьмя дырками, а в кабинете Виктора Петровича – блестящий фантик из-под конфеты «Чародейка». Эти трофеи они принесли гардеробщице, но не заинтересовали ее.

– Не нашли, – сказала Лариса, и ее лицо стало жалостливым и виноватым. А девчонки смотрели нахально и весело, будто ничего и не случилось.

– Вот так и будут все терять, – обиделась гардеробщица. – А я отвечай!

– Я заплачу! – обрадовалась Лариса. – Сколько стоит номерок?

– Рубль, – официально объявила гардеробщица.

Лариса помнила, что, отправляясь в поликлинику, не взяла с собой денег. Но рубль мог оказаться в сумке. Она снова прошуровала глазами и пальцами все отделения. Ей попались четыре монеты по 15 копеек, три – по десять, пятак и еще пять копеечных монет.

В это время к гардеробу подошла пожилая дама с ленточкой в волосах. Волосы сзади и с боков были забраны под эту ленточку в аккуратный валик. Такую прическу носили перед самой войной, и дама осталась верна этой моде. О ней нельзя было сказать: бабушка. Именно – дама. Брови у нее были подрисованы черным карандашом. Причем линии – естественная и искусственная – имели разное направление. Своя бровь шла вниз, а рисованная вверх.

Дама подозрительно оглядела Ларису, ее брюки, подпоясанные ремнем, дремучую челку до середины зрачков. Потом посмотрела на детей – тоже в брюках и с челками, и в ее глазах выразилось беспокойство за современную молодежь и за будущее всей планеты, которую придется передавать в руки таких вот. Так же, наверное, чувствовал себя Леонардо да Винчи в глубокой старости, когда не видел вокруг себя ни одного достойного ученика, кому можно было бы передать свои кисти.

По законам времени, по биологическим законам, Лариса с детьми должна была жить после нее и вместо нее и от этого не нравилась еще больше. Дама с брезгливым недоверием посмотрела на Ларису, а потом на гардеробщицу, как бы делясь с ней своими сомнениями.

Лариса тоже покосилась на даму и приказала детям подвинуться, чтобы не загромождать собой пространство. Все было вполне вежливо и пристойно, но извечный конфликт поколений серой тенью пролетел над гардеробом.

Лариса еще раз пересчитала копейки и протянула гардеробщице тяжелую горсть. Этот жест последовал сразу после обмена взглядами, и гардеробщице было неловко принять деньги из неуважаемой руки.

– Не возьму я твои деньги, – строго сказала гардеробщица.

– Почему? – растерялась Лариса, держа протянутую руку на весу.

– А зачем они мне? Мне номерок нужен, а не деньги.

Дама тем временем оделась и ушла, но гардеробщице было уже неудобно отменять принятое решение.

– А кому же мне их отдать? – спросила Лариса.

– Отнеси сестре-хозяйке...

Лариса сомкнула пальцы, сжала мелочь в ладони и пошла в конец коридора. Дети побрели следом, держась поодаль, как чеховские нахлебники.

На белой двери висела табличка: «Сестра-хозяйка». Лариса постучала и, не дожидаясь ответа, вошла в кабинет.

Сестра-хозяйка в белом халате и белом колпаке, похожая на булочницу, рылась в ящике своего стола, видимо что-то разыскивая, и была очень сосредоточена на этом занятии.

– Простите, мы потеряли номерок, – сказала Лариса.

– Ну и что? – Сестра-хозяйка отвлеклась от своего ящика.

– Вот. – Лариса разжала ладонь и показала монеты – желтые и светлые, большие и маленькие – почти все образцы, имеющиеся в денежном обращении.

– Ну и что? – не поняла сестра-хозяйка.

– Деньги, – объяснила Лариса.

– А я при чем?

– В гардеробе сказали, что я могу вам отдать.

– Почему мне? – неприятно удивилась сестра-хозяйка. В ней была задета щепетильность малооплачиваемого человека.

– А кому?

– Где потеряли, там и отдайте.

Сестра-хозяйка снова стала искать в ящике то, что ей было нужно.

– Извините, – смущенно проговорила Лариса и вышла из кабинета. Закрyla за собой дверь.

– Я кушать хочу, – пожаловалась Даша.

– А я пить... – поддержала Маша.

– Кто держал номерок? – с раздражением спросила Лариса.

– Она. – Даша показала на сестру.

– Не я, – отреклась Маша.

– И это дети... – горько заключила Лариса. – Раззявы. Халды. Почему у других дети никогда не простужаются и ничего не теряют? Вот сдам вас на пятидневку.

Даша и Маша выслушали. Поверили. На их души опустилось горе.

– Не ходите за мной! – приказала Лариса. – Стойте здесь. На этом месте.

Она ускорила шаг и пошла к гардеробу.

Возле барьера уже выстроилась порядочная очередь, и гардеробщица орудовала в поте лица.

– Сестра не взяла, – сказала ей Лариса через головы.

Гардеробщица промолчала. Она тащила охапку пальто, взвалив ее на свой живот.

– Может, все-таки возьмете? – Лариса протянула через головы кулак с мелочью.

– Не лезьте, – попросила женщина. – Тут с детьми стоят.

– Я уже стояла, – объяснила Лариса.

– Ни стыда ни совести, – отозвалась другая, из середины очереди. – Им плюй в глаза, а они скажут: дождь идет.

Гардеробщица продолжала молча выдавать пальто, делая вид, что не знает Ларису. Видит первый раз. Ларису отгеснили от гардероба.

Она выглянула в коридор. Дети стояли там, где она их оставила, под плакатом о вреде алкоголя. Маша тихо плакала. А Даша рассматривала плакат; у нее была потрясающая способность: моментально приспосабливаться к новым обстоятельствам и ни о чем не сожалеть.

– Что ты реवेशь? – спросила Лариса, подходя. – Ну, что ты реवेशь?

Маша нырнула головой, вытянула губы и зарыдала еще вдохновеннее, поскольку было кому показать свое горе.

Маша плакала абсолютно так же, как тетя Рита. У них в роду была дальняя родственница, старая дева, окончившая свою жизнь в доме для престарелых. Так вот, когда тетя Рита плакала, у нее складывались губы и дрожали брови – абсолютно так же, как у Маши. Вернее, у Маши так же, как у тети Риты, и было непонятно: через какие тайные пути передались природе эти сочетания хромосом...

– Давай мириться, – предложила Лариса и присела перед Машей. Та навалилась на мать своим тяжелым тельцем и сладко обрыдала ее лицо, горячо дыша в щеку.

– Ну всё, – сказала Лариса, целуя мокрое личико. – Всё?

Маша кивнула, продолжая источать слезы, но не горькие, как прежде, а легкие и просветленные. Брови и щеки были в красных нервных пятнах.

Даша стояла рядом как истукан, с интересом рассматривая нарисованного неаккуратного дядьку с красным носом.

«Вся в Прохоровых, – подумала Лариса. – Прохоровская порода».

Из кабинета вышла сестра-хозяйка.

– Простите... – начала Лариса, но сестра-хозяйка прошла мимо, как проходит генерал мимо новобранца. Потом она вернулась и заперла кабинет, и ее широкая спина как бы говорила: «Ходят тут... еще пропадет что-нибудь...»

– А куда мне обратиться? – спросила Лариса, глядя в недоступную спину.

– Обратитесь к своему лечащему врачу, – ответила сестра-хозяйка заученными интонациями.

Видимо, все мамы обращались к ней с медицинскими вопросами, и она всех отсылала к своему лечащему врачу.

Виктор Петрович передвигал стетоскоп по детской спинке, говорил: «Дыши, не дыши». Потом вытащил из ушей костяшки стетоскопа и посмотрел на вошедшую Ларису.

– Ну что? – спросила мама мальчика, беря в плен глаза Виктора Петровича.

– То же самое, – ответил Виктор Петрович, осторожно выводя свои глаза из плена ее зрачков. – А что может быть другое?

Женщина промолчала. Надежда в ее сознании не мирилась со здравым смыслом, а Виктор Петрович стоял на стороне здравого смысла.

– А если не делать операцию? – тихо спросила женщина.

– Но ведь мы уже говорили об этом, – мягко напомнил Виктор Петрович. – Что я могу сказать нового? Я могу повторить только то, что уже говорил.

Женщина молчала. Она стояла со спокойным лицом, но Лариса видела, что это спокойствие опустошения, когда все вычерпано изнутри, осталась только оболочка. В кабинете установилась неподвижная душная тишина.

– Вам что? – Виктор Петрович посмотрел на Ларису.

– Ничего...

Лариса вышла в коридор. Вокруг ходили люди, но Лариса не замечала. Она существовала в капсуле чужого несчастья, как косточка в виноградине, и не могла двинуться с места.

Очередь разошлась. В гардеробе было пусто. Гардеробщица сидела на табуретке и вязала на спицах. Сестра-хозяйка стояла перед ней, облокотившись о барьер, и смотрела на ее руки.

– Значит, пятьдесят две петли. Запомнила? – спросила гардеробщица.

– Пятьдесят два раза считать? – спросила сестра-хозяйка.

Теперь ее не поняла гардеробщица, и обе некоторое время напряженно смотрели друг на друга.

– Пятьдесят две лицевых и пятьдесят две изнаночных или всего пятьдесят две? – выясняла сестра-хозяйка и в это время увидела Ларису с детьми. – О! Тащатся... Фудзиямы...

Почему «фудзиямы», Лариса не поняла. Может быть, от их темных волос и темных глаз отдаленно веяло Востоком.

– Я кушать хочу, – напомнила Даша.

– И я, – поддержала Маша.

– Я вас очень прошу: дайте нам пальто. Пожалуйста. Я больше не могу... – тихо пожаловалась Лариса.

– Никто вас и не держит, – удивилась сестра-хозяйка. – Давайте номерок и идите домой.

Она обладала властью над Ларисой и, должно быть, испытывала некоторое тщеславие и не хотела с этим расставаться.

– Вы же знаете, что номера нет. Нам что теперь, раздетыми идти?

– А как мы найдем ваши пальто? – поинтересовалась сестра-хозяйка.

– Я сама найду.

– Ты-то найдешь... – неопределенно сказала гардеробщица, намекая на то, что Лариса может прихватить с вешалки чужие вещи, охраняемые непотерянными номерками.

– Вы мне не верите?

– А почему мы должны кому-то верить, а кому-то не верить? – спросила сестра-хозяйка, и это было резонно.

До тех пор, пока в обществе существуют воры, – существуют номерки и гардеробщики. Воры, по всей вероятности, необходимы в общем вареве жизни – для того чтобы люди умели отличить Добро от Зла, ценить одно и противостоять другому. Воры существовали еще при рабовладельческом обществе и ничем не отличались от обычных людей – до тех пор, пока что-нибудь не крали.

– Но что же делать? – растерялась Лариса. – Не ночевать же тут...

– Зачем ночевать? Ночевать не надо. – Сестра-хозяйка забрала у гардеробщицы клубок и спицы. – Всего пятьдесят две или всего сто четыре? – вернулась она к прежней теме.

– Почему сто четыре? Пятьдесят две. Вяжи вот такой кусок, – гардеробщица развела пальцы – большой и указательный – на всю ширину. – А потом, как петли скидывать, я тебе закончу. Тут главное – макушка.

Сестра-хозяйка воткнула спицы в клубок.

– Которые пальто останутся, отдашь без номерка, – распорядилась она и пошла.

– Как останутся? – не поняла Лариса.

– Будем закрывать, все пальто разберут, а ваши небось останутся.

– А когда закрывать?

– В восемь часов.

– Значит, я до восьми должна стоять и ждать?

В этот момент сестра-хозяйка проходила мимо Ларисы. Лариса испугалась, что она сейчас уйдет и ничего нельзя будет изменить. Гардеробщица, как более низкий чин, не посмеет ослушаться и отменить распоряжение.

– Подождите! – Лариса схватила сестру-хозяйку за рукав.

Сестра-хозяйка вздрогнула и выдернула руку. Тогда Лариса схватила сильнее, чтобы удержать во что бы то ни стало, несмотря ни на что. Хотя бы ценой собственной жизни.

А далее произошло то, что бывает во время опытов по физике в физическом кабинете, когда между двумя сближенными шарами сверкает разряд.

Грянул гром, сверкнула молния, и Лариса вдруг почувствовала, что летит в угол к аптечному ларьку, скользя по паркету на напряженных ногах. Далее она запомнила себя сверху мягкого тела сестры-хозяйки, а потом оказалась внизу, ощущая лопатками жесткий линолеум, в глазах все было белым от халата. Монеты, желтые и серебряные, со звоном раскатились по всему гардеробу.

Аптекарьша выглянула из ларька и сказала:

– Надо милиционера позвать. Пусть ей пятнадцать суток дадут.

Маша и Даша дружно заревели, широко разинув рты, и так зашлись, что даже посинели. Гардеробщица испугалась, что дети не продохнут и погибнут от кислородной недостаточности. Она метнулась к темным гроздьям пальто и, вернувшись, бросила на барьер две белые болгарские шубки и перекрашенную дубленку Ларисы.

Мамаши с детьми подходили к гардеробу, но боялись ступить в опасную зону. Успех был переменным. Сестра-хозяйка превосходила массой, а Лариса – темпераментом.

Несколько добровольцев бросились в середину сражения и растащили женщин по разным углам, как на ринге. Они стояли, и тяжело дышали, и не могли слова молвить.

– Хулиганка, – сказала аптекарша.

– Это что ж, – поддержала сестра из регистратуры, – если каждый будет приходить и бить персонал, что же от нас останется...

Гардеробщица тем временем торопливо одевала Машу и Дашу. Застегнула на шубках все пуговицы, надела пуховые башлыки, затянула шарфики, чтобы дети не простудились и не пришли опять со своей мамой.

Лариса высвободилась из рук добровольцев. Взяла свою дубленку и пошла к дверям, одеваясь на ходу, теряя из рукавов перчатки и платок. Кто-то подобрал и отдал ей.

Дети молча поплелись следом, в одинаковых шубках и пуховых башлыках.

На улице выпал снег. Земля была белая, нарядная. Небо – мглистое и тоже белое.

Раньше, десять лет назад, на этом месте стояла деревня с кудрявыми палисадниками, вишневыми деревьями. Сейчас здесь выстроили новый район, но снег и небо остались деревенскими.

На тротуаре стоял старик и смотрел себе под ноги. Лариса тоже посмотрела ему под ноги, там валялся огрызок яблока. Старик поднял голову и сказал:

– Знаете, я съел яблоко, а в середине червяк. Я вот уже полчаса стою и за ним наблюдаю. Какое все-таки удивительное существо – червяк...

Лариса кивнула рассеянно и пошла дальше. И вдруг остановилась, пытаясь понять: как она, молодая женщина из хорошей семьи, кандидат наук, мать двоих детей, понимающая толк в литературе и музыке, – вдруг только что разодралась, как хулиган на перемене, и ее чуть не сдали в милицию. Приехал бы милиционер, отвез в отделение и спросил:

– Ты что дерешься?

– Скучно мне, – сказала бы Лариса. – Скучно...

Была юность. Прошла. Была любовь к Прохорову. Прохоров остался, а любовь прошла. Все прошло, а жить еще долго. И до того времени, когда можно будет просто созерцать червяка, как этот старик, должно пройти еще по крайней мере тридцать лет. Тридцать лет, в которых каждый день – как одинаковая тугая капля, которая будет падать на темя через одинаковые промежутки.

Пойти, в сущности, некуда. А было бы куда – не в чем. Мода все время меняется, и для того, чтобы соответствовать, надо на это жизнь класть. А было бы в чем и было куда – все равно скучно. Душа неприкаянная, как детдомовское дитя...

Милиционер спросил бы:

– А пятнадцать суток дам, не скучно будет?

– Все равно...

– Ладно, – скажет милиционер. – Привыкнешь.

– Не привыкну.

– Привыкнешь. Куда денешься...

Лариса нырнула головой. Брови ее задрожали, и она ощутила на своем лице выражение тети Риты.

Дети медленно тащились следом, притихшие, удрученные. Дорога под снегом обледенела. Девочки то и дело скользили, но не падали, а только сталкивались плечами.

В три часа закончилась смена, и сестра-хозяйка вышла на бетонное кольцо.

С трех начинался прием грудников, вся площадь перед поликлиникой была сплошь заставлена детскими колясками.

Подошла еще одна мамаша с коляской, стала доставать своего человечка. Человечек был в комбинезоне, весь круглый, как шарик, с круглым личиком. Под поясok комбинезона попала пеленка, покрывающая матрасик коляски, и потащилась, как шлейф за царевичем. Надо было

отделить этот шлейф, но руки заняты, и женщина как можно выше понесла своего царевича на вытянутых руках. Пеленка отделилась и опала, но женщина не опускала руки. Она держала ребенка над головой, смеялась и жмурилась в его личико, глупела и слепла от счастья. А тот висел в воздухе, безвольно свесив ручки и ножки, и ничего не выражал: ни страха, ни радости. Ему было надежно в материнских руках и привычно в материнской любви. Так было с первого дня его жизни, и он не представлял, что может быть по-другому.

Сестра-хозяйка загляделась на эту пару. Думала: если бы у нее был такой вот теплый круглый человечек – она ничего бы больше для себя не просила и никогда никому не сказала бы ни одного грубого слова. А эта... – вспомнила Ларису, – шкрыдла... двоих имеет. А дерется...

Было не холодно, но ветер все же задувал в ажурные дырки платка.

Рядом с поликлиникой стоял кинотеатр «Витязь», и мужественный витязь из листового железа просматривал с фасада вверенный ему микрорайон.

Когда стало немножко теплее

Настя вернулась из булочной и принесла батон за тринадцать копеек, хотя я просила ее купить булки-слойки.

– Батон большой, – объяснила Настя свои действия. – Я его буду весь день терзать...

Я сказала, что можно терзать то и другое по очереди, но Настя слушала меня невнимательно.

– Я в магазине слышала, в Америке это... напряжение плохое, – сообщила она. – Ты бы пошла в магазин, взяла чайник масла. И манки. А то, как объявят, очередь выстроится до горы, и не достанешь ничего.

– Ладно, – обещаю я, чтобы было короче.

– Если объявят войну, я повяжу глаза платком и лягу на дороге. Пусть хоть машины едут, хоть лошади... И не подымусь.

Моей Насте кажется, что в третьей мировой войне будет участвовать конница Буденного.

Настя рассеянно смотрит за окно. У нее свои воспоминания о войне, у меня – свои.

За окном черным комочком по белому снегу передвигается моя дочь. Она как две капли воды похожа на меня в ее возрасте: то же круглое лицо и низкая челка. Я очень похожа на свою мать в молодости, а Настя совершенно не переменилась за ту четверть века, которую я ее знаю. Какая была, такая и осталась, только волосы стали седые. И я иногда не пойму: то ли время идет, то ли остановилось.

– Вот будет немножко теплее, пойдешь на улицу, – говорит Светке тетя Нина.

Светка сидит на диване с лицом, приготовленным к плачу, а я стою в дверях в шубе и валенках. Валенки у меня старые, в кожаных заплатках, шуба ободранная, полосы меха свисают с нее, как собачьи уши. Тем не менее у меня есть шуба и валенки, и я хожу гулять. А у Светки нечего надеть, и она всю зиму, вот уже третий месяц, сидит дома.

Я младше Светки, моя одежда на нее не лезет. Мне приказано уходить из дома незаметно, чтобы не травмировать Светку, но незаметно уходить неинтересно.

– Ну, я пошла гулять, – как бы между прочим сообщаю я.

– А-а-а! – громко, с отчаянием вскрикивает Светка.

– Не гулять, не гулять... – машет руками тетя Нина, а моя мама стремительно оборачивается и делает мне свирепое лицо.

– Гулять, гулять, – тихонечко втолковываю я Светке, вытаращив глаза от напряжения, и тут же выскакиваю на крыльцо, с большим удовлетворением воспринимая Светкин крик.

Мама выскакивает за мной следом и начинает меня трепать, шумно, но не больно. Она делает это для хозяев дома, чтобы тетя Нина не заподозрила маму в солидарности со мной и не выгнала бы нас с квартиры. Я и мама – эвакуированные, а Светка и тетя Нина – местные. Они жили в этом поселке до войны и останутся жить потом, когда война кончится. А мы сядем на грузовик и уедем в Ленинград. Там высокие каменные дома, и все говорят на «а», а не на «о». «Корова», а не «корова», «пашли», а не «пошли».

Мама треплет меня на крыльце, хочет, чтобы я тоже заорала, и тогда Светкин моральный ущерб был бы частично возмещен. Но я молчу, как партизан на допросе. Не хочу облегчать Светкину участь своим позором.

Мама бросает меня и уходит в дом. Сейчас она начнет меня унижать перед Светкой, а Светку, как ни странно, это примирит с судьбой.

А на дворе – красота и пространство. С яркого неба сыплется сверкающая снежная пыль, и если долго смотреть на нее, а потом закрыть глаза, то она идет перед закрытыми глазами.

Скобка на воротах белая от мороза, будто сделана из сахара. Неделю назад я лизнула ее кончиком языка. Язык тут же прилип. Я стояла нагнувшись, с вытянутой шеей и примерзшим языком – это было нелепое и унижительное зрелище. Моя подруга Милька и двоюродная сестра Ренатка молча стряхнули со своих рук грязные, влажные от снега варежки и принялись оттирать мой язык кислыми чумазыми пальцами. Все закончилось тем, что на двор выскочила моя мама в одном платье и плеснула мне в лицо ковш горячей воды. Язык отстал, а на скобе до сих пор осталась розовая горка из смерзшейся крови и слюней.

Я выхожу за ворота. Нарядный снег. Тихие избы. Дорога с коричневыми штрихами вмерзшего навоза. Все это я видела тысячу раз и уже привыкла не обращать внимания. И дорога и избы существуют сами по себе, помимо моего сознания.

Я вольно дышу и гляжу по сторонам, и мне хочется бежать, чтобы как-то расходовать свое спрессованное ощущение воли.

Я бегу по дороге, сильно топоча ногами, и успеваю думать при этом: «Какая я красивая... вот приеду к тете Насте, и она увидит, какая я красивая...»

Тетя Настя – это няня, которая была у меня в Ленинграде. Нас с мамой эвакуировали, а она осталась в блокаде, и мы должны с ней встретиться после войны.

Потребность в любви, которая заложена в человеке с рождения и движет им всю жизнь, в ту пору была у меня обращена к Насте. Все, что я делала в своей жизни: мылась, спала, гуляла, училась читать, – все это было только для нее. Мне хотелось быть самой умной и самой красивой – только для тети Насти, чтобы она не уставала на меня смотреть и не соскучилась от моей глупости.

Мимо меня по дороге идет Ренаткин отец и мой дядя – дядя Леша. В детстве он упал с лошади, и у него до сих пор не работает шея. Если ему надо на что-то посмотреть, он оборачивается всем туловищем.

Я останавливаюсь посреди дороги и смотрю дяде Леше в самое лицо, чтобы не упустить на нем следы восхищения моей красотой. Но дядя Леша идет мимо, прямой, как доска, брови у него широкие, черные, а в глазах мрак. Он углублен в свою жизнь и не замечает ни снежной пыли, ни моей красоты. Может быть, оттого, что ему трудно смотреть по сторонам. Но я великодушна и снисходительна, как королева: потому что я никогда не умру и потому что у меня есть тетя Настя.

– Милька-а! – ору я под Милькиным окном. Жду немножко и опять ору: – Милька-а!

Долго никого нет, потом в окне за двойными рамами появляется Милькино лицо – круглое, толстое и заспанное. Еще вчера оно было худое и маленькое, и эта перемена бросается в глаза.

Милька еще немного торчит в окне, потом выходит ко мне на улицу. Ее голова повязана толстой шалью, которая крест-накрест пересекается на груди, проходит под мышками, и концы ее стянуты на спине в тугий узел. Оттого, что шаль проходит под мышками, Милька не может опустить руки до конца, они у нее растопырены, будто она тащит ведра.

– Ты чего, переспала? – с недоумением спрашиваю я, глядя на заплывшие щелки Милькиных глаз.

– Опухла, – говорит Милька и плачет.

– А хочешь, я не поеду в Ленинград, – неожиданно для самой себя предлагаю я. – Останусь здесь навсегда...

Милька перестает плакать и смотрит на меня, пытаюсь осмыслить услышанное. Ее потребность в любви обращена на меня. Ей нравится во мне все: лицо с низкой челкой и пейсами, развешанными по щекам, короткая шуба и короткие платья, и то, что я городская, а не деревенская, говорю на «а», а не на «о». Я кажусь Мильке еще более прекрасной, чем я кажусь себе. И если я действительно не уеду в Ленинград, а останусь с Милькой на всю жизнь в поселке

Арти, то такая неприятность, как опухнуть с голоду, уже не кажется серьезной неприятностью в сравнении с извещением о вечном счастье.

Милька стоит передо мной и не сводит с меня глаз. Я ощущаю свою над ней власть и, слабый человек, не выдерживаю испытания властью. Во мне поднимаются темные силы культа: насилие и безнаказанность, будто я держу Мильку на ладони, как букашку, и могу, если захочу, оборвать ей крылья и лапы, и мне за это ничего не будет.

– А я сегодня манную кашу ела с маслом, – сообщаю я, глядя на Мильку внимательными застывшими глазами. – И редиску...

– А что это, редиска? – ревниво и недоверчиво спрашивает Милька.

– А это такие маленькие красные яблочки вместо картошки...

Редиску я укусила один-единственный раз в своей жизни два года назад, перед войной. Она была горькая, рвала язык, и я отказалась от нее без сожаления. Что касается сегодняшнего дня, то с утра я ела дуранду, напоминающую вкусом пресованные опилки.

Милька насуплена. Она переживает зависть и унижение, смешанные с общей безысходностью, какую порождает неразделенное чувство. В Милькиной душе закипают упреки, но она не выражает их вслух, боится спугнуть мое намерение остаться с ней в поселке Арти.

– Идем к Сторожихе, – зову я.

Сторожиха – это тетя Дуся Сторожева. У нее на неделе умерли две дочери, оттого что наелись колосьев ржи, которые они вырыли из-под снега. В колосьях, которые всю зиму пролежали под снегом, скапливается яд, и есть их, оказывается, нельзя. Валю похоронили позавчера, а Веру будут хоронить сегодня, и у них в доме должно быть очень интересно.

Милька раздумывает некоторое время, но податься нам особенно некуда, и мы идем в другой конец поселка к Сторожихе. Я – впереди, в своей драной шубе, Милька позади, с растопыренными руками.

На середине дороги нас ни с того ни с сего разбирает хохотунчик, беспричинный смех – тот самый смех без причины, который является, по мнению взрослых, признаком дурачины. Но причина есть. Это, несмотря на голод, выплескивается из нас детство и беспечность, и мы радуемся этому, не умея осознать.

У Сторожихи в доме полно народу. Мы с Милькой околачиваемся за спинами, и нам ничего не видно. Потом мне удастся протолкаться на середину комнаты, и тогда в просвете между темными полушубками я вижу край стола и босые ступни мертвой Веры.

Эти ступни входят в мое сознание мгновенно и на всю жизнь. Я неприятно потрясена таким глубоким проникновением и стараюсь не смотреть, отвести глаза, но мои глаза будто кто-то за ниточку привязывает к желтым сомкнутым пальцам, плотным, как пульки.

Возле стола стоит подруга Веры, четырнадцатилетняя, почти уже взрослая девочка, и, как заученный урок, говорит о том, что Вера была очень хорошая.

Я отодвигаю лицо немного в сторону за кисло пахнувший полушубок и теперь не вижу ничего. А Мильку по-прежнему разбирает хохотунчик, и я чувствую, что заражаюсь от нее. Мне всегда бывает смешно некстати, когда совершенно нельзя смеяться, – своего рода протест смехом.

Мы с Милькой стараемся не встречаться глазами, чтобы не включаться друг о дружку. Но мои глаза косят в Милькину сторону. Я украдкой, воровато взглядываю на нее, а она в этот же самый момент на меня, мы прыскаем в кулак и разлетаемся глазами в разные стороны.

Тетя Марина Жакова очень строго на нас посмотрела, и нам стало еще смешнее.

Бабы беззвучно плачут вокруг нас, утирая отсыревшие лица кто углом платка, кто подолом юбки. Из сеней в комнату вошла трехлетняя Майка, самая младшая Сторожихина дочка, беленькая, похожая на мальчика. Никто не знал, может, она тоже ела колосья.

Вдруг Сторожиha закричала: «Рука! Рука...» У нее заболело сердце, и эта боль отдавала в руку.

Бабы заплакали громче. Майка сначала молчала, крутила головой в разные стороны, потом придралась к чему-то и тоже заревела.

Майка кричала, бабы выли, и было в этом горестном хоре что-то торжественное, почти театральное, когда все люди охвачены одним общим чувством. Они подчиняются только этому чувству и уже не принадлежат себе. И от этого все становятся ближе друг другу, лучше понимают Сторожиhино сиротство и свое собственное и из этого общего горя черпают силы, чтобы жить дальше. И сердцу делается легче и чище, будто кто отпарил его утюгом через мокрую тряпку.

Мы с Милькой тоже притихли, как бы отдав свои души в общее горе. Милька насупилась, потом заплакала. А я заплакать никак не могла, хотя изо всех сил припоминала все жалостное, что было в моей жизни.

«Инженер», «Ленэнерго»... Какое нежное, изысканное сочетание букв. Это мой папа – инженер из «Ленэнерго», а сейчас он на фронте – военный инженер. Тоже очень красиво – за счет буквы «н», которая как бы качается из одного слова в другое: «военный инженер»...

А у Ренатки отец, дядя Леша, работает на заводе в Арти. «Леша», «Арти» – это что-то круглое, простое до бедности. Но я молчу, потому что сижу в их доме и играю в их игрушки.

Дом у дяди Леша каменный, не то что наша изба. И в комнате у них красиво, как до войны, бело, крахмально, в бархатных подушечках и фарфоровых статуэтках. И кукла у Ренатки настоящая, темной резины, у нее гнутся руки, ноги и голова.

Мой папа и дядя Леша – родные братья, а мы с Ренаткой – двоюродные сестры, но я люблю Ренатку много меньше, чем своих подруг. Однажды на улице она подскочила ко мне сзади и закрыла глаза руками, чтобы я с закрытыми глазами угадала – кто подошел. Я угадала и коротко и сильно укусила Ренатку за мизинец, который свешивался к моим губам. Ренатка взвыла и, потрясая поднятой рукой, побежала домой жаловаться. А я побежала к себе домой – прятаться.

Вскоре явилась Ренаткина мать, тетя Ася, и сказала моей маме, что она необразованная и поэтому не умеет меня воспитывать. Мама в это время мела крыльцо, слушала, согнувшись, и молчала, и было не ясно, на чьей она стороне: на моей или на Ренаткиной. Когда тетя Ася ушла, мама вытащила меня за ногу из-под кровати и побила веником, тем самым, которым мела крыльцо. Мама не любила тетю Асю и побила меня за то, что я явилась причиной ее визита.

С тех пор мои истинные чувства к двоюродной сестре переместились в глубину моей души.

Я сижу и шью для куклы юбку, не из бумаги, а из настоящей тряпки.

Я складываю тряпку треугольничком, потом перегибаю этот треугольничек пополам и еще два раза пополам – до тех пор, пока он не становится совсем узким. Тогда я беру ножницы, луночкой срезаю верхушку и так же луночкой подрезаю основание треугольничка. Потом расправляю все это, у меня получается круг с дыркой посередине. Это юбка солнце-клевш. Мы с Ренаткой натягиваем ее на куклу, юбка стоит торчком, как у балерины.

Ренатку зовут есть. Она уходит на кухню и отсутствует некоторое время, а потом возвращается.

В руках у нее кусок хлеба с маслом, но она его держит перевернутым – так, чтобы я не видела масла, а думала, что хлеб пустой. Но я вижу, что хлеб с маслом, и вижу, что Ренатка это прячет.

Тетя Ася портниха. Она принимает заказы из соседних поселков и деревень, но берет за работу не деньгами, а продуктами, поэтому у них есть мед и масло.

У дяди Леши больной позвоночник, поэтому его не берут на фронт и он живет со своей семьей. Мои родственники живут в каменном доме, когда все живут в деревянных, не воюют, когда идет война, и едят масло, когда все пухнут с голоду. Они никого не обманывают, но все-таки живут не так, как все. И за это я их не люблю.

Я складываю тряпку пополам и вырезаю из нее что-то вроде буквы «Т». Потом сшиваю букву «Т» по краям. Линия получается неровная. Это кофта.

Ренатка стоит надо мной, жует, шумно втягивая соплю.

Появляется тетя Ася в темном платье, без лифчика, с вислыми длинными грудями и большим животом. Она считается в семье не только образованной, но и красивой. Я знаю, что она меня не любит.

– Хочешь есть? – спрашивает тетя Ася.

Этот вопрос специально для моей мамы и для дяди Леши. Чтобы тетя Ася могла им сказать: «Я предлагала, она не хочет».

Я молчу. Это молчат остатки моей изодранной гордости. Моя гордость похожа, наверное, на мою шубу.

– Тогда возьми булочку, – говорит тетя Ася.

Мое молчание ей удобно прочитать как «не хочу», и на это она отвечает: «Не хочешь есть, тогда возьми булочку».

Тетя Ася несет мне белую слоеную булку, обсыпанную сахарной пудрой.

Мне уже не до куклы, не до Ренатки и не до собственной гордости. Я беру булку и тут же одеваюсь и ухожу.

Рука мгновенно мерзнет на морозе, но я не надеваю варежку, чтобы не потревожить драгоценную булку.

Я отколупнула полупрозрачную полосочку булки снизу, чтобы было незаметно, и сунула ее в рот. Я не могу определить свое ощущение таким бедным и невыразительным словом, как «вкусно». «Вкусно» – это какая-то слабая, очень приблизительная тень того ощущения, которое я испытываю. Булка пахнет ванилью, и вместе с этим тонким, чистым запахом я слышу забытую прекрасную жизнь, которую мы называем «мирное время».

На улице сумерки – тот час, когда вечер смыкается с ночью. Между мной и горизонтом сплошной стеной стоит лес, там живут волки. По ночам они приходят в Арти и воют под окнами от голода.

Я бегу по дороге и боюсь волков, боюсь мертвой Веры. Я как бы погружаюсь в предчувствие погони и бегу между избами, которые глядят из снега желтоватыми уютными окнами.

Я бегу к Мильке, чтобы показать ей булку, потому что, если я ее сейчас съем, булки не будет и никто не поверит в то, что она была.

– Милька... – громким шепотом зову я. Жду немного и снова: – Милька...

Милька появляется в окне и тут же исчезает, идет открыть мне дверь.

Мы заходим в сени. Дверь в комнату прикрыта неплотно, и оттуда, как половик, тянется по полу желтая полоса, а Милька стоит на конце этой полосы. Она не отрываясь смотрит на булку и молчит. Я отламываю ей половину булки. Милька не отдирает снизу полупрозрачные полосочки, а широко кусает и тут же почти глотает, не слушая запахов мирной жизни, которые бушуют у нее во рту. Снова кусает и снова глотает. А потом смотрит молча, и я отдаю ей вторую половину булки.

– А ты? – спрашивает Милька, задерживаясь глазами на моем лице.

– Я уже ела, – беспечно говорю я. – Пять штук...

Милька верит и ест вторую половину булки. Она верит сейчас и в пять булок, и в манную кашу, и в редиску.

Я вздыхаю и иду из сеней на улицу. Отойдя немного, оборачиваюсь на Милькино окно, вижу в нем темный круг ее головы и думаю о Мильке недоброжелательно, и тут же понимаю, что нехорошо так думать, и стесняюсь своих мыслей.

Великое и мелкое свободно умещаются в моей душе.

Мама сидит на кухне и вышивает блузку. Светка примостилась на деревянном чурбачке, спиной к печке. А тетя Нина опять читает письмо от самой себя. Полгода назад она получила похоронную, и теперь ей обратно приходят письма, которые она посылала своему мужу Павлу.

В письме говорится о том, что тетя Нина со Светкой живут хорошо, у них все есть и ничего им не надо. Дальше тетя Нина пишет мужу про него самого – какие у него руки, глаза, голос, как он сердится или смеется. Когда он держит папиросу, то кончики пальцев у него немножко отогнуты, а на среднем пальце кожа коричневая от табака, будто ее помазали йодом. И руки у него пахнут табаком. А ходит он прямо, не сутулится, держит кулаки в карманах и шаркает тапками по полу. А когда он играет на гитаре и поет, то лицо у него туманное, и, если не хватает голоса, он качает головой и немножко улыбается, как бы извиняясь, а сам в это время все равно поет. Виски у него стройные, как у молодого коня, и глаза – горячие, добрые и большие, тоже как у коня.

Мама вздыхает, и мне обидно, что дядя Павел похож на лошадь, к тому же шаркает, и голоса не хватает, и руки в табаке.

А Светка поставила глаза в одну точку и не мигает.

«Ты только не оставляй меня одну, без себя, – читает тетя Нина. – Если я еще живу и хожу, то это только для тебя».

«Как я для тети Насти», – думаю я.

«Ты мой отец, которого я слушаюсь. Мой Бог, на которого я молюсь. Мой избалованный сыночек, которого я прощаю. Ты – мой любимый, мое солнышко, моя радость приятная, мой дождичек на грядку с огурцами. Где ты сейчас?»

Тетя Нина заливается слезами, именно заливается. Она закрыла лицо руками, и сквозь ее тонкие пальцы катятся слезы и заливаются за рукава.

«Ты мое солнышко, – думаю я про тетю Настю, – ты моя радость приятная, где ты сейчас?»

Мама вышивает васильки. Сами цветы синие, а серединка желтая. Она наматывает нитку на иголку, потом иголку протыкает в материю, и на ней остаются пупырышки из скрученных ниток. Середина цветка получается в желтых пупырышках.

Мама вышивает и слизывает слезы со щеки. Потом говорит тете Нине про нашего папу, какой он любил горячий чай, такой горячий, чтобы кипел в стакане.

Я смотрю на маму. Она, конечно, не врет, но в ее воспоминаниях все выглядит несколько иначе, чем на самом деле. Видимо, один и тот же кусок жизни имеет два измерения: в реальности и в воспоминаниях.

Мы со Светкой разомлели от тепла, от сладкой печали и от легкости наших тел.

Тетя Нина просит Светку почитать стишок. У Светки очень хорошая память, и тете Нине хочется показать нам и удостовериться самой – какая у нее необычная дочка. Теперь она будет жить для дочки, и Светка, конечно, стоит того, чтобы для нее жили. Такие, как Светка, на дороге не валяются.

Светка поднимается с чурбачка, вытягивает руки по швам.

– Жил да был крокодил, он по улицам ходил, – привычно тараторит Светка.

Я слушаю историю про крокодила невнимательно. Жду, когда подойдет моя очередь: петь. Память у меня такая же, как у других детей моего возраста, но зато я – музыкальный ребенок.

Светка наконец заканчивает своего крокодила, тетя Нина опять заливается слезами. Я терпеливо переживаю и этот этап. Потом, дождавшись своей очереди, подхожу к печке, поднимаю голову и начинаю, сразу же сильно подавая звук:

*Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой,
Идем мы в смертный бой за честь своей страны.
Пылают города, охваченные дымом,
Царит в седых сердцах суровый бог войны!*

Я пою, и нагромождение непонятных слов кажется мне прекрасным. Оно и было прекрасным. И от благородной сильной страсти, которую достает из моей души эта песня, у меня мерзнут коленки и кожа на голове.

*Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовет Отчизна нас.
Из сотни тысяч батарей за слезы наших матерей,
За нашу Родину – огонь! Огонь!*

А взрослые смотрят на меня и внимательно слушают. И это похоже на клятву.

На дворе март. Снег стоит высокий. Светка все еще сидит дома, стала совсем белая и своей белизной и хрупкостью напоминает гриб-поганку, выросший в погребе.

Я тоже сижу дома, потому что кашляю и у меня все время субфебрильная температура. Я – больной ребенок.

Мама вывезла на середину двора санки. В санки поставила высокий деревянный ящик. В ящик постелила тулуп и во все это погрузила меня, завернутую в одеяло. Потом взяла веревочку в правую руку и повезла меня в районный центр, в больницу.

Земля подо мной медленно раскручивается в одну сторону, а мама за веревочку везет меня в другую. Мы едем куда-то очень далеко, через поле – то самое, где под снегом притаились ядовитые колоски.

Я так закутана, что ничего не вижу ни под собой, ни по сторонам. Надо мной только небо, грязно-серое, с подтеками, как плохо застиранная тряпка. Я тихо дышу, и над моими губами отдельно от меня существует мое дыхание.

Вдруг земля подо мной останавливается. Это мама дышит в варежки, греет руки. Но я этого не вижу. Мне кажется, что мама завезла меня в поле, бросила веревочку и ушла домой.

Я обеспокоенно кручусь в ящике, и надо мной тут же восходит мамино лицо.

– Пришла? – спрашиваю я.

– А ты думала, я тебя бросила? – удивляется мама.

– Да...

– Какая же ты еще маленькая, – опять удивляется мама и целует меня в глаза, в нос, в щеки. Лицо у нее холодное.

Потом снова разматывается земля, как клубок, оставляя за собой нитку-дорогу. Я сижу в ящике наедине с небом, и настроение у меня философское. А на маму простор действует так, будто ее, как Светку, всю зиму держали дома и теперь первый раз выпустили. Она то побежит с гиком и криком, вырывая из-под меня землю, то вскочит сзади на полозья и, держась за ящик и одновременно придерживая его, катится с горы.

Подножия горы я не вижу, и мне кажется, что это наклонное падение не кончится никогда. Вдруг все перемешивается – небо со снегом, происходит что-то мгновенное, густое, спрессованное по событиям настолько, что я не успеваю расчленивать, осознать, а потому не успеваю

испугаться. Это мой ящик слетел с санок, перевернулся несколько раз и упал набок. Я не вывалилась из него, так и лежу. В этом успокоенном состоянии я медленно понимаю все, что произошло, и одновременно с пониманием, даже на секунду раньше, ору на все чисто поле. Ору не от боли, мне не больно. И не от страха – мне не страшно. Испугаться я не успела: сначала было некогда, теперь поздно. Просто я – больной ребенок. Я капризна и нетерпелива, и всякие шутки со мной воспринимаю как бестактность и фамильярность.

Мама не пугается. Она смеется и ставит ящик обратно на санки и опять целует меня долго и часто, а я прикрываю глаза, чтобы защитить их от маминых поцелуев.

Потом какая-то больница, белые стены и врач – совершенно рыжий, с рыжими усами. Я смотрю на него с брезгливым сожалением, мне кажется – это стыдно быть рыжим, так же стыдно, как, например, ходить без штанов.

Врач говорит маме, что у меня открылся туберкулез, образовалась вспышка, которую надо заливать салом и медом.

Мама произносит «о-о-о!..» и на этом звуке втягивает в себя воздух, а потом не выдыхает, так и сидит с широкими глазами и застывшим лицом.

Обратно возвращаемся ночью. Небо надо мной черное, но чернота не плоская, а глубокая, объемная.

Мама больше не балуется. Она идет равномерно и медленно, как лошадь, и ей кажется, что никогда не кончится дорога, никогда не кончится зима, никогда не кончится война.

А потом стало немножко теплее. Снег сошел, обнажилась земля, черная и влажная. Ключья снега, грязные и пористые, застряли возле забора, а за забором дорога и дома кажутся неприбранными, неряшливыми.

Тетя Нина раскрыла большой сундук, достала оттуда Светкино красное плюшевое пальто, такой же капор и ботинки, некогда черные, теперь почти белые. Все это, включая ботинки, было таким мятым, будто их два дня подряд, не отвлекаясь, жевала корова и, брезгуя проглотить, выплюнула.

Я стою рядом со Светкой и гляжу, как ее обряжают: сначала надели капор, завязали под подбородком за две скрученные тесемочки и вывязали их в бантик. Тесемочки шелковые, взаимодействуют неплотно, поэтому капор не облегает голову, и Светка выглядывает из него, как из норы. Нос у нее острый, губы бледные.

Потом тетя Нина застегнула пальто на все имеющиеся пуговицы и подергала за подол, чтобы пальто было подлиннее и не казалось таким мятым.

Я присутствую при этом торжественном моменте, и в моей душе мается какое-то сладкое томление, предчувствие счастья. Это предчувствие не дает мне стоять на одном месте. Я слоняюсь вокруг Светки и тети Нины то кругами, то какими-то ломаными линиями.

Наконец Светка готова, я беру ее за руку, и мы вместе выходим на крыльцо. Вокруг меня то, что я видела вчера и позавчера, на что я не обращала никакого внимания – все это существовало само по себе, помимо моего сознания. Но оттого, что рядом со мной Светка, – все, что я вижу, кидается в мои глаза остро, пестро, бессистемно: кадка, темная от дождей, ярко-рыжая горка кирпичей, пожухлый клочок газеты, резкий стеклянный ветер. Я захлебываюсь от этой навязчивости, заглядываю в Светкино лицо, как бы делись с ней этой звонкой пестротой. Но Светка смотрит перед собой равнодушно и безучастно, как взрослая. У нее такой вид, будто она забыла дома что-то необходимое и теперь раздумывает – возвращаться ей или нет.

Мы спускаемся с крыльца. Я держу Светку за руку и через эту руку ощущаю рядом с собой другую жизнь, хрупкую и драгоценную. У меня такое чувство, будто я учу ее ходить, и она делает свои первые шаги: шаг со ступеньки на ступеньку. Еще шаг – со ступеньки на землю. И вот уже мы медленно ступаем, чутко выверяя подошвами устойчивость земли.

По мне, от кончиков рук и ног, как пузырьки в стакане с газированной водой, взбегают легкость и радость. Эта легкость и радость вздымают меня от земли, я иду возле Светки почти

невесомая. Со мной творится что-то невероятное. Предчувствие счастья становится невыносимым, оно треплет меня так, будто я схватилась руками за оголенные провода. И мои несчастные нервы, истонченные голодом и субфебрильной температурой, не выдерживают такой нагрузки. Я опустилась на горку рыжих кирпичей посреди двора и разрыдалась.

Я не могла понять: почему иду над землей, почему плачу?

Потому что тогда, в те далекие дни, я первый раз в своей жизни была счастлива чужим счастьем. А это самое большое, самое счастливое счастье, какое только бывает на свете.

Я сидела на кирпичях и плакала, раздавленная незнакомым чувством, а Светка стояла рядом, не ведая о соучастии. С какой-то обреченной покорностью вникала в весну, в теплое, настойчивое солнце.

Давно это было...

Тайна земли

Елена Андреевна Журавлева, а за глаза «Косая Алена», проснулась утром оттого, что ей все надоело.

Проснувшись, она полежала некоторое время с открытыми глазами, укрепляясь в своем ощущении. Укрепившись окончательно, решила, что есть смысл оформить ощущение в слова, а слова высказать вслух. По телефону.

Николаев позвонит в девять. Она снимет трубку и скажет: «Знаешь что? Я устала. Мне все надоело. Я больше ничего не хочу».

Обычно он звонит ровно в девять. Это его время. Он звонит и говорит:

– Привет.

Она отвечает:

– Привет.

Он говорит:

– Ну пока.

Она отвечает:

– Пока.

И весь разговор. Всего четыре слова. По два с каждой стороны. «Привет» и «пока».

Но это не так мало, как кажется на первый взгляд. На самом деле этот разговор гораздо длиннее, чем четыре слова. На самом деле он таков:

– Я есть у тебя. Привет.

– И я есть у тебя.

– Но у меня дела. Я пойду к делам. Пока.

– Я уважаю твои дела. Для настоящего мужчины дело важнее женщины. Но после всех дел ты придешь ко мне. Я подожду. Пока.

Вот что значат всего четыре слова – по два с каждой стороны.

Сегодня все будет иначе.

Сегодня он скажет: «Привет».

Она ответит: «Я устала. Мне все надоело. Я больше ничего не хочу».

Он удивится: «Но почему?»

Она скажет: «К чему вопросы...»

Круглый будильник допотопной конструкции показывал девять часов тринадцать минут. Потом девять часов четырнадцать минут.

Через сорок шесть минут он показывал ровно десять.

Николаев не звонил. Это было против всех правил и привычек. Это было так же, как если бы солнце встало на час позже или не взошло вообще.

Алена глядела то на будильник, то на телефон и испытывала какое-то общее недоумение. Она боялась, что недоумение размочит ее планы и, вместо того, чтобы сказать заготовленную фразу, она заорет в трубку: «Ты чего не звонишь? Я стою, жду, как идиотка...»

Хорошо было бы пойти на кухню, вскипятить чайник, но Алена боялась, что шум падающей воды сожрет остальные звуки, и в том числе телефонный звонок.

Алена стояла над телефоном. Потом ей надоело стоять, и она села в кресло.

Время остановилось вокруг Алены. А может быть, это остановилась сама Алена, а время продолжало медленно обтекать ее босые ноги и нежное лицо.

Алена была похожа на американскую актрису Одри Хепберн. Если бы Одри косила на правый глаз, то была бы просто копией Елены Андреевны Журавлевой, учительницы пения в начальных классах.

Пение – предмет не обязательный, и на этом уроке дети, как правило, самоутверждаются в глазах родного коллектива и в собственных глазах. Сознательные ученики, в лице старосты и звеньевых, пытаются навести порядок, и очень часто это начинание перерастает в гражданскую войну: сознательные бьют хулиганов и наоборот.

В этих случаях Алена норовит спрятаться за пианино, потому что не знает, к какой стороне примкнуть, и боится быть избитой обеими сторонами.

Алена смотрела на телефон, но видела памятью свой урок в 4-м «А».

Круглоглазый и круглоголовый Афанасьев прокукарекал два раза. Просто так, чтобы сообщить общий легкомысленный тон начавшемуся уроку. Староста Звонарева – толстая, рано оформившаяся Звонарева – взяла свой портфель и стукнула Афанасьева по круглому лицу. Афанасьев ударился затылком о радиатор парового отопления, и у него, как в мультфильме, прямо у всех на глазах выросла высокая шишка. Это было со стороны Звонаревой явным превышением власти. В недрах класса, как в вулкане перед извержением, заурчал гул.

Алена в первую секунду оцепенела от ужаса, а уже во вторую секунду громко и с патетикой закричала:

– История знает две тайны смерти: смерть царевича Дмитрия и смерть композитора Моцарта!

И первая и вторая смерти давно перестали быть тайной. А может, никогда и не были таковой. Известно, что царевич был убит людьми Годунова, а Моцарт умер своей смертью от туберкулеза. Но Алене необходимо было переключить внимание детей со Звонаревой на коварство Годунова, на чье угодно коварство. И если бы для этого понадобилось выдумать еще одну тайну, Алена выдумала бы ее сама и, не задумываясь, выдала за подлинное историческое событие.

Класс забыл про Звонареву, Звонарева забыла про Афанасьева, а Афанасьев забыл про свою шишку. Все разинули рты и слушали про завистливого Сальери, беспечного солнечного Моцарта.

На Моцарта и Сальери ушло двадцать минут. Оставалось еще двадцать. Надо было разучивать новую песню.

В плане стояла детская песенка «Мы сидеть не станем дома». Но детям не интересен учебный репертуар, который не обновляется десятилетиями. Дети поют то, что поют взрослые.

Алена не рискнула отпустить их внимание и объявила популярную песню: «Зачем вы, девушки, красивых любите...»

Продиктовала слова. С чувством сыграла вступление, и весь класс затянул с суровым вдохновением: «Ромашки спрятались, поникли лютики...» Афанасьев выводил громче всех, напрягая, вытягивая шею. Слух у него был замечательный.

В соседнем девятом классе шла контрольная по алгебре. Никто не мог сосредоточиться на формулах. Все сидели, слушали и уносились мыслями в неведомые дали.

Учителя выглядывали из учительской. Им тоже хотелось петь хорошую песню под хороший аккомпанемент.

В один из дней Алена решила – не идти больше на поводу у двенадцатилетних людей, а взять их в ежовые рукавицы. Взять и держать. Именно с этим настроением Алена явилась на следующий урок, сосредоточив в себе всю волю, всю принципиальность и благородную свирепость. Но дети почему-то все равно ее не боялись. Они сидели тихо, но смотрели скептически, и, когда Алена крикнула, кто-то засмеялся. Видимо, была в ней какая-то неубедительность, дряблая воля, которая сразу ощущается детьми и собаками.

Собаки кусались при первой же возможности. Дети не слушались. И Николаев тоже совершенно не слушался и не боялся, а относился к ее любви как к необязательному предмету.

Будильник показывал без четверти одиннадцать. Хотелось есть. Алена вспомнила, как он вчера уходил. Она смотрела в его лицо, а он куда-то вверх. У него были желтоватые белки и острое, очень неприятное выражение лица.

Алена подошла к телефону и набрала номер Николаева. В конце концов – почему она ждет его звонка? Ведь можно же позвонить самой. Позвонить и все сказать.

В трубке запел скорбный длинный гудок. Сначала один. За ним другой. Эти гудки шли из его кабинета. Там стоял его стол и было его жизненное пространство – семь квадратных метров, выделенных из общего жизненного пространства.

Трубку долго не снимали. Алена ждала и видела его лицо.

– Вас слушают, – неожиданно отозвался незнакомый голос. Видимо, кто-то посторонний вошел в его кабинет.

– Можно Николаева? – спросила Алена, удивляясь чужому голосу.

– Он на совещании у директора. Что ему передать?

– Ничего не надо. Спасибо.

Можно, конечно, передать через постороннего человека: «Я устала. Мне надоело. Я больше ничего не хочу». Но честно ли это будет по отношению к их прежней любви? Всегда бывают интересны начала отношений и безразличны концы. И все-таки их история заслуживает другого конца. Надо уважать свое чувство, пусть даже ушедшее.

Нельзя передавать главные слова через третьих лиц. Надо сказать самой. И не по телефону, а лично. Прийти к нему на работу красивой и независимой. Еще более красивой и более независимой, чем в начале любви. Прийти и все сказать. А потом повернуться и уйти. И, как поется в какой-то новой песне, он сможет окликнуть. Но не сможет вернуть.

Учреждение, в котором работал Николаев, называлось: НИИФЗ – Научно-исследовательский институт физики Земли. В нем работали младшие и старшие научные сотрудники, писали кандидатские и докторские диссертации.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.